ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№9 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

Продолжаем публикацию откликов на "Письмо писателей, деятелей культуры и науки России", опубликованное в № 4 нашего журнала:

"Несомненно, больше молчать нельзя. Ведь дело дошло до того, что русофобствующая мафия, имеющая крепкие позиции в средствах массовой информации, культуре, сфере образования, отказывает нам, русским, в праве любить свою затюканную, обескровленную Родину. Всякий, кто открыто об этом заявляет, немедленно попадает в разряд "черносотенцев" и "так называемых патриотов". При этом делается все, чтобы искусственно разбить нашу интеллигенцию на два враждующих лагеря: "демократов" и "великодержавников" (само собой, "антисемитов").

СЕМЬЯ ЧЕРЕМИСИНЫХ, Могилевская область".

"Русский народ обвиняется в шовинизме и "русском фашизме". Создается впечатление, что кому-то необходимо восстановить народы нашей страны против русского народа, уничтожить русскую культуру, стереть с лица земли русскую нацию.

ПЕТРОВА Р. Г., ЯРОВАЯ Л. П. и др., всего 18 подписей, г. Тверь".

"На нашу долю выпало возродить российскую государственность. Россия должна, как Феникс, восстать из пепла.

ЛИТВИНОВ В., военнослужащий, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, г. Мичуринск".

"Разделяем тревогу писателей, деятелей культуры и науки России. Просим изыскать все имеющиеся средства для издания Письма отдельной брошюрой массовым тиражом, не менее 20 миллионов.

Трудящиеся завода "Северная верфь":
КОЛОСОВА С. А., ПОПОВ Г. Г., ЯЛФИМОВ В. П. и др., всего 69 подписей, г. Ленинград".

"Мы, русские, живущие в Литве, горячо поддерживаем Письмо. Нас, в одночасье вдруг оказавшихся "за границей" на положении людей второго сорта, глубоко радует ваша поддержка русских в союзных республиках.

КАТЫХИНА, ОБОРЛЕВА и др., всего 5 подписей, г. Шяуляй".

"Нынешние "швондеры", осевшие в средствах массовой информации, по сути, ничем не отличаются от идеологов первых лет советской власти – та же пропагандистская возня, направленная на подрыв самосознания народа, та же ставка на низменные инстинкты в противовес возрождению духовности и в итоге – преследование каких-то своих целей, далеких от общенациональных.

Работники треста "Дальморнефтегеофизика": ФЕОКТИСТОВ А. В., ОВЧИННИКОВ Д. И., СУНАГАТОВ Р. Т., САВИШКИН С. А. и др., всего 56 подписей, г. Южно-Сахалинск".

" В Письме четко определены те, кто стравил наши народы, втянув в жернова этой чудовищной мельницы и простой еврейский народ, направил естественные чистые национально-патриотические чувства народов по ложному пути.

ЧИРКОВА М. В., КАМИНСКИЙ В. П., ЗАХАРИКОВА И. А., г. Рига".

"Родина у нас одна, нам ехать некуда и незачем, поэтому нам нельзя отдавать ее на поругание, разбазаривание и закабаление. Расчленению России – нет! Превращению России в сырьевой придаток Запада и мировую свалку радиоактивных отходов – наше решительное НЕТ!

КУРКИНА Т. Н., ПЕТРОВА С. В. и др., всего 5 подписей, г. Воронеж".

"Выражаем признательность за гражданское мужество и искренний патриотизм всем подписавшим это Письмо, направленное на возрождение России, против темных просионистских антиперестроечных сил.

Студенты, преподаватели и сотрудники Кубанского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института: КОЖАН Н. К., АРТЕМОВ И. И., ШЕПЕЛЕВ Б. З. и др., всего 66 подписей, г. Краснодар".

"Пока не поздно, надо остановить зарвавшихся "прорабов перестройки", иначе они переведут весь "строительный материал" и останутся от их деятельности в нашей стране одни только развалины и пепел.

Сотрудники Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства: АРИСТАРХОВ А. Н., БАСМАНОВ А. Е., ВЯТЛЕВА Т. И. и др., всего 20 подписей, г. Москва".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 6300 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№9 1990

© «Наш современник», 1990.

Главный редактор
С. Ю. КУНЯЕВ

Редакционная
коллегия:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
И. А. ВАСИЛЬЕВ,
С. В. ВИКУЛОВ,
В. Ф. ГРАЧЕВ
(зав. отделом
прозы),
Д. П. ИЛЬИН
(первый
заместитель
главного редактора),
А. И. КАЗИНЦЕВ
(заместитель главного
редактора),
Г. Г. КАСМЫНИН
(зав. отделом
поэзии),
В. В. КОЖИНОВ,
В. И. КОЧЕТКОВ,
Ю. П. КУЗНЕЦОВ,
А. Г. КУЗЬМИН,
А. А. ПИСАРЕВ
(зав. отделом
очерка
и публицистики),
В. Г. РАСПУТИН,
А. Ю. СЕГЕНЬ
(зав. отделом
критики),
Г. В. СЕРЕБРЯКОВ,
В. А. СОЛОУХИН,
В. В. СОРОКИН,
И. И. СТРЕЛКОВА,
И. Р. ШАФАРЕВИЧ.

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря **З. С. Гуляевская.**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200—23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией) 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.06.90. Подписано к печати 19.09.90.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,21 Тираж 468505 экз. Заказ 1769

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

42

Если упускать такой случай как сегодня, то и никогда никакого заговора не составишь. А если разговаривать, то тоже не намёками. Насторожило, правда, раздражение Свечина. Но в его порядочности сомнений не было, что не проболтает. Зато искупалось сопротивление Свечина открытой восприимчивостью Воротынцева. Был он тот благодарный втягивающий слушатель, в глаза которого глядя, хорошо рассказывать:

— Месяц назад состоялось тут некое неофициальное совещание разных... мыслителей. Кадетов больше. На частной квартире, как теперь вся общественная жизнь идёт. Был там и я. Больше — слушал. Проверял все возможные точки зрения. Вот, давайте ещё раз проверим и с вами, что́ они говорят.

Все они соглашаются, что власть держится — ни на чём, только толкни. Что события неминуемо разворачиваются к большому народному размаху, то есть — к революции. Но никто не выказывает охраняющего движения — протянуть руку и остановить этот размах. Размышляют только: а когда ударит — то что случится? Может ли дать отпор правительство — презренное, безвольное, в самом себе не уверенное? Нет. В этом согласны все. И тогда рассматривают два варианта. Первый: что беспомощное правительство, начав по-настоящему тонуть, кликнет о помощи к общественным кругам, к законодательным учреждениям.

— ...Ну, считайте, к Милюкову и Прогрессивному блоку. А этого только и надо! И общественные круги так и быть согласны помочь гибнущему правительству, так и быть не уклонятся от ответственности и примут бразды. При сохранении монархии, на это у них ума хватает. Но может быть с заменою Государя, ещё как они там решат. Вариант второй: власть упирается до последнего, не просветляется и в минуту гибели, что, кстати, больше на неё похоже.

Продолжение. Начало в №№ 1—8 за 1990 год.

Ждущий взгляд Воротынцева затемнился.

А Гучков дал себе отвлечься:

— Человеческая природа. Из-за этого и все катаклизмы истории. Ну кажется: поймите сами. Ну кажется: уйдите сами, сколько раз уже вам намекали, говорили, толкали, — нет!! Без нудящей силы, по своему разуму, и на уступки? Ни за что!

Подумал, исправился:

— В Европе иначе. А у нас: пока святым кулаком по окаянной шее не наладили — ни за что не уйдут. Один раз с Манифестом уступили — и локти себе искусали, и своровали подло назад.

Свечин покуривал себе. Не проявлял прежнего сопротивления, но и прежнего внимания.

— Итак, по второму варианту, власть бесславно падает, не позвав на помощь цензовые круги. Стихия на короткое время торжествует. Что же цензовые круги? Не присоединяясь к стихии, спокойно ждут своего момента. После радостной анархии и уличных торжеств, дескать, придёт неизбежный момент организации новой власти — и вот тут-то, мол, наступит черёд людей государственного опыта, которых неизбежно *пригласят* управлять страной, — ведь кто ж, кроме них, на то способен?.. Так что, в обоих вариантах, н а м — только спокойно сидеть и ждать, когда пригласят, а? — Усмехнулся Гучков, проверяя на собеседниках. Воротынцев тоже усмехнулся, Свечин вполне безразличен. — Милюков уверен, лотерея беспроигрышная: уступит ли власть сама или её сшибёт революция, — хоть министры, хоть анархисты, хоть союзники, все неизбежно придут и поклонятся кадетам.

Вертикальное отзывчивое лицо Воротынцева искосилось.

— Что? — спросил Гучков.

— Александр Иваныч, откуда такая уверенность в революции? Откуда она нам? Ни с какой стороны.

— О-о-о, вы заблуждаетесь. Я считал революцию неизбежной уже весною Четырнадцатого. Но война отменила.

— Не думаю. В солдатских головах — такой мысли совсем нет.

(Хотя вот на днях же на Выборгской...)

А свечинское грубое носатое лицо побесчувственело, никакого выражения.

— Они мечтают, — развивал Гучков, — это будет, как в приличной Франции, в 48-м году. Но и во Франции революции не бывали друг на друга похожи. Только тем похожи, что лучше б не было вовсе никаких.

Крутил треугольник салфетки.

— А я им сказал: господа! Тот, кто *делает* революцию, тот её и возглавит, тот и сядет во власть. Глубоко вы ошибаетесь, что какие-то одни силы выполнят чёрную работу революции, а других позовут управлять новой Россией. Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергали ре-во-лю-ци-о-неры, — пишите пропало! готовьте шеи для гильотины! Надо — не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а: нашим разумом, нашей волей — революцию *остановить*! Или — обойти.

И выставил косо перед собой недлинную руку с крепко зажатой салфеткой как поводом невидимого коня. Недлинную руку, однако умеющую держать оружие. Однако немало и пострелявшую.

Быстрые глаза Воротынцева всё вбирали, без перебива. Свечин обдымливался, как чёрно-лысый истукан в фимиаме.

Салфетку — к груди прижал Гучков, сердечным признанием:

— Если уж так безнадёжно допустили мы Россию — так наше дело, высших классов и общества, и найти для неё несотрясательный выход. Если сдвинется *масса* — рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция — это провал фронта. Надо во что бы то ни стало удержать глыбу, чтоб она не двинулась.

Это-то было несомненно? Не между кадетами если. Кто и что мог тут возразить?

Глыбу удержать? Воротынцев брался плечо подставить. Ну, не один, человек двадцать таких. Попробуем?

— Ведь если только эту даже *мысль* — о возможности сотрясения, свержения, да обратить в толпу? — ведь её потом...

Покосился на Свечина. Искры по крышам? Ну что ж, виноват. Иногда вместе с кадетами увлекался, по задору выдразнивал на общественную поверхность, чего и не хотел. Ещё год назад тянул их на открытый бой. Свойство сердца — оно само выколачивается из груди. Но зато теперь понимает твёрдо.

Если дать толпе *подняться*... (Ворвутся и сюда, в отдельный кабинет Кюба, в наш быт налаженный.) Потом — её на место не загонишь. *Охлос* не должен участвовать в политике, он должен получать только готовое. В этом разумный урок всей истории.

Ждал возражений? Не было их.

Чья же задача — не дать пожару охватить Россию? Кто же должен переспеть, предупредить стихийные силы, если не мы — руководящие круги её, деятельные и сильные люди? Это — долг наш. И даже — политический расчёт.

До сих пор — разговор как разговор, которыми насыщена Россия, между знакомыми или случайными встречными, в гостиных даже великокняжеских, между гвардейцами, или думцами, или земскими гласными или пассажирами 1-го класса, или пациентами кисловодского курорта. Но ещё несколько ломких переступов, нематериальных слов, даже тона, не уловимого для записи, — и вместо тугих воротничков рубашки или кителя — вдруг щекотание мыльной петли на шее. Стены уютного кабинета расплываются в казематные петропавловские.

А слова — кажется, всё те же, ну несколько невесомых переступов:

— И если ничьи уговоры уже не действуют на высшую власть. И если личные свойства характеров... тех людей... на ком больше всего скопилось вины перед Россией... м-м-м... не дают надежды включить их в здоровую политическую комбинацию... ?

Косился на Свечина. Загадочно-супротивное так-таки таилось в нём. А как бы Свечин пригодился, в Ставке! Да что уж играть намёками? Негромко, бесповоротно:

— Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот — единственное спасение России.

Сказано. В карих глазах — бесстрашие.

И — на Свечина.

И Воротынцев, навстречу выдвинутый.

И — тоже неясен. И вслед за Гучковым — на Свечина тоже: как?..

Молчание тех великих минут, когда уже крутятся неслышно зачинательные оси истории, ещё не передав своего вращения на большие главные валы.

Но толстокожий Свечин как не чувствовал ни этой высоты, ни значенья минут. Рот большой искривил на поллица в улыбке-не улыбке, а как тот хохол на базаре у воза с горшками, кому цену предложили лядащую:

— Да з глузду вы зйихалы, панове... Во время войны — государственный переворот? Да всё ж поползёт, развалится.

А Воротынцев — не принял этого тона. Воротынцев раздумчиво:

— В тебе всегда служба и служба. Так и заслужишься в тупик, смотри... А тут... тут...

Что?

Нет, никак не понимая, зачем над ним шутят, сколько ж ему за горшок дают, Свечин на Воротынцева голову поставил бодливо, мясистые губы вывернул:

— Александр Иваныч хочет спасти от революции, а сам накликает

хуже. Если государственное управление сгнило, как Александр Иваныч с друзьями уже десять лет заклинает...

— Пять, — исправил чётко Гучков.

— ...так мы бы третий год не воевали в такой войне, уже бы развалились.

Пять лет! Отдуманно отсек Гучков, понимай: от убийства Столыпина? Да, от того дня и стало ясно, что этого монарха исправить невозможно и помогать ему — тоже впустую. И сегодня, когда Курлов, злодей, — потайный министр внутренних дел, позади Протопопова, и скользкий Спиридович, и все причастные, покрывшие, — вьются наверху... Всё вернулось.

Вибрирующая минута. Покачиваются весы — и как же понять их правильно? Мягкое изменение власти для спасения России от сотрясения — а если другое сотрясение? Спасать Россию — ценой того, чтобы свергать царя?!? Прямо-таки — свергать?..

Всё качалось, и только несомненное Воротынцев сказал Свечину:

— Ты в Ставке — цифры считаешь, ты людей обречённых не видишь, не чувствуешь.

— При чём тут? — челюсти стянул Свечин.

— При том! — задрожало в Воротынцеве заряженное, затолоченное двадцатью шестью месяцами, и он сам себя этим подкреплял. — Что правительство, которое может слать подданных на погибель ни во имя чего, просто рукавом небрежным невежды как посуду чайную целые дивизии смахивать — и в черепки!.. Что подданные действительно становятся... свободны от обязательств.

Но остужаясь. Несчастное свойство речи перед мыслью: всегда скажешь грубей, не точно.

И Сумасшедший Мулла — продрогнул, продрогнул, тоже от чего-то удержался. Крупные губы жгутами вия:

— Так ты... где же ты монархист?

Воротынцев протёр напряжённый лоб.

— Не путайте монархизм и легитимизм, — поспешил на помощь Гучков. — Против монархии ни один разумный человек и не возражает.

(Хотя чёрт его знает, этого Гучкова, он, может, и республиканец?)

— Надо исходить из положения России, а не отвлечённого принципа монархии. Когда монархию саму можно спасти, только отстранив монарха, — так вот я именно в этом и монархист. Нельзя быть монархистом более верным, чем участвуя в таком перевороте. Строй монархический не только останется, но укрепится. Это будет именно монархический переворот.

Более не отзывался Свечин. Ровно, жёстко смотрел. Между двумя.

— А вот кстати, — вспомнил ему Гучков. — Как раз к вашим убеждениям, если они настойчивы. Вот ещё почему надо поторопиться с дворцовым переворотом вместо революции: чтобы всё совершить исключительно русскими руками. Обойтись не только без плебса, но и без еврейства. Тогда и развитие страны будет русское.

Аргумент?

Свечин — не углубился выражением. Сидел, обдымливался опять. В конце концов и отдыхал же — после обеда, выпивки, перед дорогой.

Может быть, и весь разговор не следовало при нём начинать?.. Но то было заманчиво, что он в Ставке.

Зато Воротынцев глядел неприкровенно, отважно, ожидая: что же дальше? Не ошибся глаз Гучкова, не подвела память, какой это был всегда офицер. Присягу обнимал — не как гарнизонный ротный. Таких пять полковников да пятнадцать капитанов и нужно было.

Тут разные планы обдумывались. Кроме редких наездов на фронты, которые трудно подловить и использовать, царь бывает теперь только в Царском Селе и в Ставке. В Царском — крупное сопротивление и, значит, кровопролитие. В Ставке — невозможно без участия или хотя бы попустительства высшего командования.

Но теперь все эти слои разговора уже не следовало приподымать?

Хотя... Всё мирней выглядел отдыхающий сытый Свечин. Пил нарзан. Поворачивал невозмутимый хохол с базара со всеми своими горшками.

А для Воротынцева — надо было говорить дальше.

— Итак, надо не будоражить большого количества солдат. Как можно меньше их. В этом отношении дело должно вестись у́же, чем у декабристов.

А ступая вослед т е м, как же совсем не ощутить лёгкого этого верёвочного щекотанья на шее? На шее, какую уже наметила, излюбила, назвала императрица.

На языке заговорщиков — лёгкий дворцовый переворот, на языке власти — тяжёлая государственная измена.

Сходное заметив или только ожидая заметить на собеседнике, Гучков улыбнулся с опытным старым знанием:

— Риск есть в каждой борьбе. Но его обычно преувеличивают.

Сам же он без риска — слабел и рыхлел.

— Открытое обращение к солдатам, разъяснение им всех целей — это уже может тянуть за собой массовую революцию. Но — немногих, но какую-то одну-две воинские части в последний момент повести за собой, может быть, вывести на площадь для демонстрации, — вот в этом надо быть уверенным.

И как раз в этом отношении тип Воротынцева подходил Гучкову: это из тех был офицеров, кто в нужную минуту коротко и сильно увлечёт солдат, *сказавши*, а то и без речи.

Ему-то Гучков и должен был бы сейчас открыть почти весь замысел: какую именно воинскую часть ему пришлось бы вести, для этого в какое место надо б уже сейчас переводиться по службе. Это — третья возможность, не Ставка и не Царское, а в промежутке. Государь, тяготясь скучною Ставкой и постоянно стремясь в покойный семейный круг, часто снуёт между Ставкой и Царским, всегда одной и тою же дорогой, да ещё примедляя поезд ночами, чтобы стук не мешал ему спать. Вот и было лучшее решение: взять императора почти беззащитного — в дороге, ночью, взять при помощи расположенных рядом железнодорожных или запасных малых частей. Части эти уже изучал Гучков, уже подбирал там надёжных офицеров. (Но пока малоудачно.)

Однако при Свечине теперь — как же?..

Свечин сидел как отсутствовал. Отсутствовал настолько, чтоб его не понять. И присутствовал настолько, чтобы мешать.

И тогда — об общем:

— Что́ мы совершенно отклоняем — это вариант «11 марта». — И на поднятые брови: — Ну, когда Павла удушили. Убийство монарха — ни в коем случае. Новая власть не должна стать на крови.

Ну ещё бы! А верней, Воротынцев ещё и подумать не успел отяжелительно. Переворот? ещё нужно взвесить, а убийство — и думаться не может.

— Да если наследует сын или брат — он и не переступит через кровь. Так что добиться надо — внезапно, быстро, малой группой — только отречения. В пользу брата или сына. Манифест заготовляется заранее, лишь подписать. Английский король ради военных успехов охотно примет двоюродного брата в гости...

Вот — и споткнулся, и похолодел Воротынцев: ради военных успехов?.. Он сказал — «ради военных успехов»? Класть и дальше мужиков? И это — чисто-русский переворот? Так это — англо-французский переворот?

Ну конечно, и раньше понимал Воротынцев, что Гучков — за войну, за войну, — но и России же предан как! И для спасенья её — неужели не переубедится?..

Но вымолвить ему тут, сейчас — о замирении, о перемирии, о выходе из войны — было никак невозможно! Не по мундиру...

А карие глаза Гучкова так оживились за блесками пенсне, не заметил:

— Как можно меньше жертв в охране, в перестрелке. Да произойди завтра такой переворот — и тут же его с восторгом будет приветствовать вся Россия. Вся армия! Всё офицерство!

Укоризненно на Свечина: ведь ты же завтра, башибузук, так же будешь восторгаться. А участвовать — увольте?

Свечин мрачно:

— Насчёт восторга — смотрите, не просвистите. А если — не отречётся?

— Не представляю. По его характеру — очень легко. Сразу сдаст.

— А если всё-таки не уступит?

Гучков вздохнул. Покачал шнурком пенсне. Да, здесь было некое слабое место, указывали ему уже.

— Нет. Крови ни в коем случае не проливать.

Повёл Свечин могучими бровями:

— Тогда останется вам самоповеситься.

— Сразу уступит! — твёрдо смотрел через пенсне, твёрдо выговаривал Гучков. — Да что вы, господа! Да надо же психологически его представлять. Он министра увольняет и то боится ему объявить в лицо: поблагодарит, обласкает, завтра увидимся, а вослед записку: увольняю. Да смотрите по всему его царствованию!.. Да — как он бабы боится! Если от неё в отлучке — подпишет, что б ему ни дали.

Смотрел на Воротынцева, ища одобрения. Что ему в полковнике нравилось — явная свобода отношения к *этому* царствующему, без дрожи почтения. Так и видел он этого полковника, быстро идущего вагонным коридором расставлять посты в тамбурах.

Но взгляд Воротынцева почему-то уклонился.

Хорошо бы Свечин догадался уйти. Нет, сидел. Покуривал, попивал. (Принесли кофе с ликёрами.)

Мало что оставалось, допустимое вслух. Что к наследнику зато не будет общественного презрения, как сейчас. Регентом — Михаил? Или регентский совет? А — кто в нём? Щепетильно оттенял Гучков, что себе не ищет власти:

— Боюсь, что такого единственного, провиденциального человека в России нет сейчас. Регентский совет, коллектив. Вернуть хороших министров — Кривошеина, Самарина, Щербатова...

Не сто ходов рассчитывать вперёд. Прежде — само дело.

Действие! — было всегда ножом, отделяющим близких Гучкову от неблизких, от болтунов. Дело же — было ещё неясно и в собственной его голове. Он и на Кавказский фронт ехал сейчас не без мысли потолковать там с Николаем Николаевичем: нащупать, к а к он, если... Раньше для связи с военными Гучков использовал свою работу в Красном Кресте. Теперь, не имея доступа на главные фронты, он мог ловить офицеров только в отпусках, в командировках. Уже не в одной компании он говорил вот так, как сегодня, и все — скорее сочувствуют, а участвовать — молодые офицеры ещё идут, более высокие уклоняются—из лояльности? из страха? Пока никого старше ротмистра у него не было. Кто у него, считалось, твёрдо в заговоре состоял — кадет-политикан Некрасов да избалованный миллионер Терещенко, ни на какое военное дело сами не способные. Неужели же нет в России людей?

Но сегодня, кажется, он не зря время потерял — нашёл?

А пока — вслух что-то же надо говорить. Да, кстати:

— Очень жалею, прошлой зимой приезжал генерал Крымов в Петербург, но как раз в разгар моей болезни. Виделся он тут... не со мной. Пока он воевал на Северном фронте — я на юге лечился. Вернулся я на север — его отправили на юг. Вы там его не встречали, Георгий Михалыч?

— Видел. Мельком, правда.

— Он там близко от вас?

— Вы эту историю с ним не знаете?

Не знал Гучков. Воротынцев стал рассказывать, с облегчением:

— Был Крымов начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, создавал его. Потом стал командовать в нём Уссурийской конной дивизией. Тут корпусной был ранен, и назначили Рерберга. С Рербергом сразу у них не пошло, да ведь с Крымовым и не всякий, вы знаете... Крымов чинопочитания не признаёт, он и командующего армией может послать... В июле Рерберг загнал его уссурийцев на Карпаты, там дожди, дорог никаких, подвоза нет, и операции никакой нет, и отходить не разрешают. И тогда Крымов самовольно отвёл дивизию на 25 вёрст назад и рапортом доложил: ввиду неспособности выполнять задание, прошу от начальствования дивизией меня отрешить. И заварилось!.. Всё-таки не сняли...

— Кремень! — посмеивался, восхищался Гучков.

Крымов?.. Сейчас, когда Воротынцев весело и сочувственно рассказал историю этого насупленного своенравца и вспомнились ему сутки под Уздау... Крымов? Полон неожиданностей. И может быть... Как угадать? Мы и сами своих не видим?

Впрочем, последний раз, осенью, Крымов показался Воротынцеву не тот, что в дерзкой карпатской истории, не тот, что с Артамоновым тогда, и не тот, чьей волей и умом отстоялся 4-й Сибирский корпус на ляоянских позициях, когда другие не выстаивали. Впечатление: не убит, но — истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ног не тягают. Этой осенью и сам Воротынцев уже подходил к такому пределу. Отсроченному, излеченному вот этой поездкой.

Подвижная кисть Воротынцева улеглась на скатерти — и на её обветренную негладкость Гучков с симпатией наложил мягкую ладонь:

— Вот что, Георгий Михалыч. Действительно, надо подумать, *не перевестись ли вам? Поближе, сюда...* Надо обсудить.

Не хотел понять Свечин — не уходил. Ну что ж...

— Я на Фурштадтской живу, на углу Воскресенского. Вы не пожалуете ко мне? Тут ещё будут... кое-кто... Послезавтра. Я хотел бы вас познакомить.

Да ведь он этого — и искал от Гучкова? Он для этого и ехал?

Но светлый ожидающий взгляд Воротынцева словно перебило, стал не тот. Упорность его ослабла. Как будто очнулся, или удивился. И из своей яркой напряжённости как-то ссовываясь:

— Два дня?.. К сожалению, Александр Иваныч, никак не могу. Я и так просрочил...

А рука лежала под рукой Гучкова.

— Ну, это пустяки, — соображал тот. — Состряпаем вам отсрочку. Кто у вас командир корпуса? Всего два дня, а потом поедете. В такую даль не хочется вас сразу отпускать.

Нет, не стало прежнего Воротынцева, уже воображённого Гучковым, как он взносит лёгкую ногу на подножку царского вагона. А на лице, закалелом от ветров и морозов, на бритых щеках, открытых висках и лбу проступал беззащитно багрянец — бурый, до цвета коричневого кителя.

Рукою под рукой задёргавшись неловко, отняв, с поиском, будто лгать собирался или обходил ложь:

— Я... непременно должен сегодня ночью уехать в Москву... И как раз завтра-послезавтра пробыть там... У меня уже и билет...

Он это выбормотал трудно, в густой краске, стыдясь, извиняясь.

— Ну что такое, батенька, билет? Сдадите. Телеграфируйте, что на два дня позже, — добродушно не понимал Гучков, как это серьёзно.

Как серьёзно.

— А если дня через четыре я снова приеду? — темнился лбом, искал Воротынцев.

— Через три-четыре дня тех людей не будет. И я уеду.

Отрезано. И врать не выдумаешь. И правду сказать — провалиться сквозь землю: день рождения разгневанной жены! — шлагбаум! канат под горло! — никак не отодвинуть.

И не соврать уже.

— Вы знаете...

Стыдней, чем пройтись бы голому перед ними двумя!.. Исказились губы, глаза опустил, потух.

— ...День рождения жены... А у нас...

Что — у нас?! Разве этот весь обряд передать? Китайский колокольчик? И всю обиду? Да ещё бы всё можно, если б эту неделю подробные нежные письма писал, а теперь бы, мол, заболел...

— ...Твёрдо обещал... А теперь в обрез...

Пока женщина была одна — не мешала она, можно было и устроиться. Это оттого, что стало их две — и сразу заклинились, и — вот, не осталось места.

Но что он связан по ногам — он не знал до этой самой минуты.

Какой позор! Непереживаемый, небывалый. Хоть бы краску отобрать со щёк, ведь не уходила, выдавала.

Поднял глаза...

Свечин — с насмешкой, но весёлой, явно дружественной:

— Э-э-э! — вскричал, вытаскивая часы, — да ведь я на поезд опаздываю. Господа, простите! Александр Иваныч, покорнейше благодарю! — Трубку совал в карман, шашка в гардеробе, так радостно собирался, будто этих минут только и ждал, что ж раньше на часы не посмотрел? — Егор? Тебе не время? Не идёшь?

Обнял его, поцеловал. Гучкову крепко-крепко потряс. Выскочил.

Меньше позора, но горечи больше: вдвоём, наконец, с Гучковым — задуманным, исканным, найденным и упускаемым вот. Небывалое чувство, за сорок лет не помнил: взялся прыгнуть — не прыгнул, шёл вперёд — завернул.

И завернул больше, чем мог назвать. Или чем сам успел понять.

Но почему в таком замысле два ближайших несчастных дня могут иметь всё значение?

Ясноокий полковник воззрился на печального больного вождя:

— Александр Иваныч! Но я — через любое короткое время! В любое место!

Он бросал своё место в строю русской обороны? Он только завтра должен был поспеть ко дню рожденья жены...

Гучков рассматривал отдаля своё снятое пенсне, держал его пальцами обеих рук.

Нашёл человека... Проговорили два часа. Боевой полковник, полный энергии и *умеющий* всё это, и не солдафон, а в порыве к общерусским проблемам, и кажется единомышленник, и уже рука на эфесе, вскочить — и мчаться...

И — именины жены?..

За все те месяцы, что Гучков толковал о заговоре, с кем ясней, с кем мутней (и сам-то ещё представляя мутно, и сам-то ещё до конца не уверенный, что уже действительно решился, что вот — начинает, вот — сделает), — из первых офицеров, в ком увидел решимость, отлитую больше, может быть, чем в самом себе, едва ли не первый раз ощутил замысел уже при корнях волос, —

и из-за бабьего каприза?..

Отчего, отчего нет в России людей?

— Александр Иваныч! Но я — на Юго-Западном, хотите, Крымова сейчас найду?

Ну, разве что Крымова. Поручение, которого другому не дашь.

— В каком объёме я должен ему сказать? Где и как вам увидеться?

Теперь-то, без Свечина, можно было открыто. Теперь-то можно было и добавить, и назвать... Но — хрустнуло в Гучкове тоже. Не прос-

то — устал, не просто подходило время для отложенных гостей, другого серьёзного разговора. А на шестом десятке трудно сразу схватываться, сразу отходить.

Всё же — ещё поговорили. Насколько возможно в принципе? Среди кого искать? О чём-то условились. Куда, каким языком написать. Разошлись, кажется, и не на пустом.

Как и с другими, впрочем...

После ухода Воротынцева ещё оставалось время до гостей. Гучков снял сюртук, лёг на диван. Закрыл лицо.

Опять споткнулся — и утёк короткий прилив бодрости. Так просто казалось — застичь на маленькой станции царский поезд, положить перед слабым венценосцем готовый манифест — и судьба России, и судьба всего мира потекут иначе... Но где взять этих пятерых полковников, способных оторваться ото всего тёплого и живого?

И — не презрение испытал Гучков к Воротынцеву, с чем тот ушёл. На презренье мы лихи в юности, сами ещё ничего не переживши. А растёт жизненный опыт, и презренье — уже не чувство мудрого. Долго был и Гучков твёрд поступью, свободен в выборе, неуязвим, неотклоним, и проходная женская череда, напитывая воинственную душу, не ослабляла, не отравляла его.

А — оступился. А при всём ясном разуме — дурно женился, ведомый чужою подсказанной мыслью. Имел глаза, имел опыт, понимал женщин — а женился опрометчиво и бездарно. Теперь по себе самому он знал, как может женщина измотать, издёргать, задушить самого сильного мужчину. Не приготовительные свои годы, но высшие и боевые, с сорока до пятидесяти пяти, Гучков прожил с женщиной чужой души, не способной ни оценить этих лет, ни помочь в них, а только вытрачивал и вытрачивал на неё дорогие силы. От постоянного семейного разорения — тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь.

Как бывает сокрыто от истории, неправдоподобно для историков, крупные общественные шаги иногда зависят от мелких личных обстоятельств: вдобавок к обиде на царя не будь очередного разрыва с Машей (каждый раз кажется — окончательного, и никогда не окончательного), Гучков ещё может быть не вскипел бы, не хлопнул бы думской дверью, не рванулся в Манчжурию, на чужую эпидемию. А так не оказался близ Столыпина в его последние загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она. Но тогда жгло, беременило, душило — урваться куда-нибудь подальше.

А в другие поры — веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное — когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим.

Так что Гучков не осудил сегодня Воротынцева слишком строго. Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть — ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться.

Смерть — вот и пришла месяц назад, только не к отцу и не к матери, но к их мальчику старшему Лёве, чёрной крышкою и накрыв эти годы болезненного их напряжения. (И если б знал, что из трёх детей суждено ему, — как бы берёг! как бы ласкал раньше!)

Смерть сына — это и есть смерть отца, только заживо. Смерть сына — это *оттуда* положенная тебе на плечо рука напоминания.

Ощущение потери баланса: как будто прежде слишком брал вперёд, закачивался — и вот теперь назад откидывает.

Опасная шаткость. Она у Столыпина появилась в последний год перед гибелью.

Больно ударило сегодня в упрёках Свечина, что сам Гучков и раскачивает постройку, сам и поджигает. А где ж найти баланс? Отдаёшься публичности — раскачивает. Согласен молчать — всё глохнет.

Ощущенье, что твой зенит — позади. Ощущение смены эпох, как когда-то и он отодвинул Шипова. У России — дальний размах, у нашей отдельной жизни — короткий. Отдежурил своё — и под лавку. Шипову было тогда пятьдесят пять. И Гучкову сейчас — пятьдесят пятый.

Вот и он, главный заговорщик, почему не мог подождать Воротынцева три-четыре дня? Потому что до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодске — лечиться. Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость.

Уже четыре года он так барахтался — свыше сил. От той пробоины 912-го года, от выворота этой морды — общественной неблагодарности, от измен — он и не оправлялся никогда.

Сколько ещё ожидало таких проб, как сегодня, оставляющих мёртвую усталость? И как же справиться — в месяцы? Ведь не готовится он, а только принципы выясняет, только всё принципы.

Толк о заговоре был — год, а заговора — не было.

ЭХ, И ЧЁРТ ТЕБЯ ПОНЁС, НЕ ПОДМАЗАВШИ КОЛЁС!

43

Ульяновы жили точно посередине между кантональной и городской библиотеками, а до Центральштелле социальной литературы было лишь чуть подальше, и куда ни иди — среднего ходу пять-семь минут. Все библиотеки открывались в девять, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за сорок: глупо, унизительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника Землячки, себя же поберечь — не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня.

Объективно говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны — эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с апломбом по каждому вопросу, чтобы только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша, брали бы вот зарабатывать перепиской, в Цюрихе совершенно некого посадить за переписку, сколько тревоги с копией пропавшего «Империализма», — так нет, у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы! Их постоянная мысль — как бы бесплатно где-нибудь поесть. А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, улупит два яйца да ещё четыре бутерброда. От обедов его твёрдо отстранили, так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом, вернуть или взять книгу, газету, а с расчётом к завтраку. (Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!) Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным *отблагодарить* — фонтаном надёрганных идеек, выяснять *принципиальные* вопросы, и всё с нападением и многознайством.

От таких визитов, от этой улыбочки знания и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще всякая неожиданная бытовая неурядица, а особенно несвоевременный незваный гость, бесцельная потеря времени — больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обидней всего бесцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлёпа, который и не думает серьёзно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки, а битый

день проваландаться — для них не потеря. А Ленин — заболевал от одного потерянного часа! И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознáются как важные и нужные, — в момент их внезапности, если не были заранее предвидены, вызывают раздражение.

Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей, ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить: среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации, ты моментально будешь обвинён в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, вождизме, диктатуре... Эмиграция — это злое гнездо, которое всё время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России (а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут за границу, а тут их содержи за счёт партии), не только принимать, но ещё и придумывать им дело. И, смотришь, такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала, хотя б тот и вышел всего один раз.

Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка, — отчего в Россию не едет, ведь собиралась? А здесь ей дела никакого нет, но она выдумывать будет, и чтоб ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие — выдумывать дело для эмигрантов.

Конечно, начнись революция, — в её широком разливе каждому из этих мальчишек и девчёнок найдется дело, и даже каждый станет незаменим, и будет их не хватать. Но пока революции нет, тесно, скудно, — мальчишки эти невыносимы.

Изматывающее состояние. Уже сколько? Девять лет, как бежали из России от поражения? Шестнадцать от несчастной первой стычки с Плехановым? Двадцать один от неумелого петербургского завала? Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, столько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от концов пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и бестолково толкутся и кружатся, не зная куда, — а ты один знаешь! — но зря вся твоя энергия, и замыслы зря, перегорает вся сила на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в Кегель-клубе. Да хорошо — хоть их, а когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали — швах, пигмейство, бросать эту игру!

Уже спустясь на набережную Лиммат, можно было считать, что племянничек по дороге не встретился, теперь — не застал. И постепенно уходило защитное предупредительное раздражение.

Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет.

Большими цельными стёклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья — ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые, — не знала республика лакеев, как вызывней повыставить свою роскошь, не тронутую войной.

С отвращением отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний — он ненавидел и вещи эти, но ещё больше — людей, кто эти вещи любит, — Ленин выждал, пока трамвай пройдёт, перед самым трамваем собака перебежала, уцелела, — перешёл набережную и пошёл вдоль реки.

У Фраумюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами — и прямо же перед ним была городская библиотека, и сейчас бы туда и зайти, да закрыто.

Дальше — обходить, между библиотекой и водой прохода нет: здание её, бывшей церкви Вассеркирхе, за то и названо было так, что выдвинуто в воду. Ещё 400 лет назад решительный Цвингли отобрал её у попов и передал в гражданское пользование.

Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви, на чёрном мраморе в несколько постаментов, со вздёрнутым носом, с книгой и мечом, упёртым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга та — библия, а всё-таки для XVI века превосходная решимость, сегодняшним социалистам бы подзанять. Отличное сочетание: книга — и меч. Книга, продолженная мечом.

Клаузевиц: война — это политика, где перо сменено, наконец, на меч. Всякая политика ведёт к войне, и только в этом её ценность.

В холодный воздух утра от реки ещё доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось: Россия — зима, эмиграция — всегдашняя беззимность. Переклонился через решётку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов, наставлено было лодок — мачтовых, безмачтовых, с кабинами или под брезентом, в несколько рядов. Мачты — покачивались.

Кескула жалуется: кто-то из близких к ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз давать. Безобразие!

Вода — тёмная, но вполне прозрачная. И видны серые камни дна.

Три стороны войны по Клаузевицу: действия рассудка достаются правительству, свободная духовная деятельность — полководцам, ненависть — народу.

На аккуратных квадратных камешках набережного тротуара — густо кленовые листья (нарочно не сметают). А на каком-то дереве задержались колючие шишечки-плоды.

Всё дорожает безумно, скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает! А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег — от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят, и побольше.

Всю жизнь выручала мама, из семейного фонда, — в заграничных поездках, в Петербурге, сколько б ни перетратился, о заработке думать не надо было, в тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем, из эмиграции в любую минуту попросить — как чудом всегда умела прислать. Но с этого лета — мамы нет, уже никогда не попросишь.

Стая чёрных уток с белыми головками качалась, качалась — вдруг разом взлетела, расплескивая, — перелетела над самой водой — опустилась. И — опять собралась. И поплыли смирно назад.

Но хотя как будто Клаузевиц и разъяснил самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идёт. И закона войны, которую надо начать.

Как бы хоть шведам займа не отдавать? Это — Шляпников должен бы Брантингу намекнуть: представитель России, ему удобней.

Профессиональный революционер должен быть освобождён от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперёд гарантировать партийную «диету» для главных членов ЦК.

С большого моста сыпали бюргерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и ещё другие: зеленоголовые, с жёлтыми носами. И сизые.

Чтобы печатали в «Летописи» — надо раскалывать блок махистов с окистами. Там, вокруг Горького, интриганы работают против нас.

А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются, крыльями и лапами воду бурлят.

Ждать от Горького денег — и ещё унизительно просить этого телёнка архибесхарактерного, чтоб извинил за выпады против Каутского, угождать ему и выбрасывать — да самые важные и самые сладкие удары во всей книге!

Что хорошо бы — на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Теперь уж — до весны. В горах — карабканьем и ходьбой, в Цюрихе — прошагиванием улиц только и разгонял, успо-

канвал Ленин это потягивание в себе неприменённых жил. Но оставалось в плечевом поясе, и вот его бы — греблей.

Ещё эта пропажа рукописи «Империализма», посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов — как кануло! Английская цензура дошла до дикости, французская стала бесстыдна, и не удивляться, если «Империализм» обратил на себя внимание, и автор его — уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают, на набережной. А — чем он тут держится? Да по первому (ну, по второму) жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии, за нарушение нейтралитета. Одну только речь в Кегель-клубе послушать, с соседнего стола.

Он тянулся, плёлся вдоль решётки, над самой водой, по теченью, в вытертом котелке, истёртом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель, с сумкой клеёнчатой, в какой носят провизию (а у него — тетради, конспекты, вырезки). И, дойдя до большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фаэтон, и медленные четырёхлошадные грузовые возы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна, с кучером в униформе на передней площадке.

Оттого приходится черняки опасные сжигать, важные документы хранить у респектабельных швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь Фреем, а в письмах между Цюрихом-Берном-Женевой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране! Как у себя под жандармами... А переписанный второй раз «Империализм» заделывать в переплёт книги, чтобы дошёл.

Пересёк большой мост. Вышел к озеру, на широковымощенную набережную, опять с несметенным насыпом кленовых побуревших листьев.

От озера ещё шире несло водяным, свеже-холодным.

Тут плавали лебеди — белые и сизые. Не плавали — скульптурно сидели на воде. А то, на мелководьи, ныряли по одному: клювом в глубине доставали что-то, а лапами барахтались, и белый задок торчал кверху. Потом долго отряхали змеиные шеи.

Слева за спиной, из-за оперного театра, выступало бледное солнце. Но оно было холодное, свет не грел.

А — успокоение от этой воды. От простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает — только тут и замечаешь: в каком же сжатии и гонке постоянно живёшь.

Просторное озеро. В разных местах рыбаки стоят на якорях. Во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит, — продолговатая, пологая лесистая Ютлиберг. Кое-где на ней — белые пятна: был лёгкий снег наверху и задержался, не стаял.

Просторное озеро, напоминает Женевское.

Свежий плеск Женевского озера — на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжёлое крушение жизни: разбился кумир.

С каким ещё молодым восторгом и даже влюблённостью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперёд, в письме из Мюнхена — тому, «Волгину», в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было — не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, — везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты-организатора, совместно раздувать революцию! Дико вспомнить — ещё верил во всеобщее объединение с экономистами, и защищал даже Каутского от Плеханова — анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты — заодно, и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везём: мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись — на задний расчёт: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России — ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил, и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя — каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе: кто требует раскола — у того линия всегда твёрже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац — сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожжённые, униженные, — и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, — а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце.

С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал как он есть, стал истинным собой.

Строго наученный в тот раз, на всю жизнь усвоил Ленин: никому никогда не верить, ни к кому никогда ни мазка сентиментальности.

Кто-то рядом стал чайкам бросать — и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали налету, крякали, дрались — и уже лезли сюда, на парапет, чуть не в лицо, и к соседям тоже.

Отмахнулся от одной. Пошёл дальше.

Как прицепчива память к случайным совпадениям, к сентиментальным воспоминаниям. То самое Женевское озеро разделяло их, только оно, ещё незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов II-го съезда, и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в поддержку, а она — рожала пятого ребёнка, уже от *младшего* мужа, — и впервые читала незнакомого Ильина «Развитие капитализма», ещё ничего не предполагая.

И — пять лет ещё прошло, они всё не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой «Даме с камелиями» пронзила его тоска — первое сомнение о своей жизни. А у неё в Давосе, как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев, в Париже, — она пришла.

Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуроватая рябь.

Поставил сумку около набережной решётки, поднял воротник, и стоял так, носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса всё сидела на даче в Зёренберге и мёрзла там, чтобы простудиться. Или сердить его.

Или наказать.

Даже пропускала ожидаемые сроки писем. Лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражения: конечно, если у вас нет охоты отвечать... или есть охота не отвечать... я надоедать вопросами не буду...

Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только — скрывать за шутками смущение. Просить.

Научиться бы выдерживать встречное молчание. Ждать, пока ответит. Но это — труднее всего: именно, когда не видишься, особенная потребность писать, делиться! Да и дела же требуют.

Просто бы вот сейчас, не дожидаясь её ответа, написать ей несколько необидчивых ласковых строк. (Ласковых — нельзя, крылышка ласки нельзя показать, письма военного времени все подцензурные, пишешь, как перед полицейским, за казённым столом. Нельзя дать оружия против себя.)

Да, он — зависел от её наказаний. Инесса была единственный че-

ловек на земле, от кого он — чувствовал, признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка. Наибольшую — когда они бывали вместе.

Нет — когда не бывали...

Всё, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход, — всё это было совсем не для него, хоть даже и не нужно, а лишь как средство поддерживать себя для дела. И летние месячные отдыхи, и горные прогулки, в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе врастяжку, или присланные мамой волжские балыки — не были баловством, просто удовольствием для тела, а — способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние, здоровье — сила революционера.

И только встречи с Инессой, когда и деловые, — получались будто просто для него, просто для счастливо-бессмысленного, лёгкого, весёлого, мычащего какого-то состояния, хотя б и в сторону отвлекали, и сил лишали, и рассеивали.

Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, — и соразмерно отвечал им: так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, — но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа.

Спорили с ней о «свободе любви», — и уж какую ясную непробиваемую логическую сетку выставил он против её неопределённостей — не проскользнёшь? Что там! Как эта тёмная вода из озёрного недра свободно вливается и проливается через рыбачью сеть, так и Инесса со своим пониманием «свободной любви» никак нигде не задерживалась классовым анализом: была остановлена — и проходила свободно, была опровергнута — и непобедима.

Тем и сотрясла она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном — велела ему переступить и идти за ней, в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предположенном, и он шёл неуверенным и восхищённым первоклассником, боясь потерять её ведущую руку — и ребячески благодарный ей, до синеватых жилок на тонкой ступне, собачье благодарный ей за то, что она это всё ему открыла — и длила, пока милость её была.

Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёренберга, через морщь осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра — разве вот не прилетало к нему помахивание её милости? колебание прищуренных век? узкий просвет зубов?

Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно.

Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу — такое холодное здесь, и оранжеватое там, на вершине Ютлиберг, куда уже набежало оно, а внизу там, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольней, оставалось пасмурно.

Счастливые дни — лонжюмовские, брюссельские, копенгагенские, краковские... Да и в Берне. Счастливые годы. Семь лет.

Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, — с Инессой он проводил и по многу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказывать — больше, чем любому мужчине. Живость отклика её и живость совета! — как не хватает их эти полгода. С апреля. С Кинталя...

Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда.

Из Берна уехать было необходимо: там доминировало влияние

Гримма, никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но, уезжая, отчего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться?

В Кинтале это было незаметно. В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!

Единственный человек, которого обидеть непоправимо: можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с её несчастной страстью писать теоретические статьи. В критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать: что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? я, конечно, за, — а уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упрёки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал. Терпеть её самовольство с переводами: она вдруг не переводит ленинский текст, но — исправляет смысл! но — цензурует даже: какая мысль ей не нравится — выбрасывает! Кому ж это можно позволить? А её — только мягко, предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней — заискивать. Написал ей длиннее обычного — сразу оговориться: я, кажется, наболтал с три короба?..

Но даже и заискивание перед ней — не унижение. Ничто не унижение перед ней.

Она вот как может наказывать, не писать. Не отвечать.

А если упрётся, что чего-нибудь не сделает, — не уговоришь.

Отошёл белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немёрзнущих белых лебедя, изогнутые шеями застыло, как навсегда.

Холодно. Взял сумку, пошёл дальше вдоль решётки.

Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от неё свободы.

В строго точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером.

Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости — она сжимается, сжимается, — и вдруг отдаёт, швыряет в деятельность с такою силой, которой ничто уже сопротивляться не может.

Сэкономив на бездельных нежностях, не даёшь застаиваться делу.

В отдалении — к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить ещё. Соединиться с Инессой навсегда? — не была бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлекательна. Да ещё ведь и дети, совсем чужая жизнь. Ещё на этих детей уклонять, удлинять свой путь — он никак бы не мог, права не имел.

Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правильно нашёл когда-то. Была Якубова и живей, и лицом милей — но не помогала бы так никогда. Мало сказать единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда иначе, чем он. Она знала, как весь мир теребит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и вспышку она оказывалась той же по излому, но — встречной формы, но — мягко. И как переимчива! Был Радек мерзавцем — она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если являлся под предлогом; стал Радек отличным партийным товарищем, дружным союзником — и как же приветлива и радостна с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда б и ошибиться можно, — но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов.

Инесса и не бережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко. Вдруг возьмёт да

модно оденется. Надя же — в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убеждать её не надо, что каждый лишний свободный франк — это лишняя длительность мысли и работы. А ещё, что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дому ни словечка, о чём предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где молчать.

И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасива, или ума не выдающегося, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен.

Правда, всё втроём, втроём — в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоём); у пансиона в тени над книжками сидя — он и Надя, а Инесса — у рояля часами; или на тёплом горном откосе на пнях — он и Надя постоянно с книгами, а Инесса — просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчёнка среди старших; наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обеим женщинам о своих идеях, планах, будущих статьях, — сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимое и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности: чтобы так держалось годами, — а ведь держалось! Если кому писала Надя длинные подробные дружеские письма — то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимою похвалой — то об Инессе. И только в письмах володиной матери (уж надина-то видела всё), в письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, — единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоём. Очень тактично.

А тут и умерли матери одна за другой: Елизавета Васильевна — после инфлюэнцы прошлой весною в Берне, Мария Александровна — этим летом в Петербурге. В горный пансион их, около Флюмса, почта была — вьючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти — как раз во вторую годовщину войны, в день Швейцарского Союза — один из бесчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры, под эти салюты и проводили мать. Да пожалуй и легче так, когда издали.

Если обоим под пятьдесят. И вот умирают матери обе, от чего становитесь вы ещё старей. Дружней. И — революционеры оба. То, пожалуй, и...

Наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёренберга, шла моторная лодка — быстро, вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину.

Что-то в ней было! — неслась и распахивала, оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала, и нос выставляла безжалостный — прервала размышления, ход мысли резким стуком — и мысль перескочила — и через весь социальный анализ, через все аргументы — просто-просто-просто, как не виделось до сих пор почему-то:

так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, — отчего ж её не осуществлять?..

Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей, — и только одно вот это упустил: если после Кинталя они не виделись — а так близко! — и она полгода не едет, и его не зовёт, и вот уже почти не пишет —

так она это лето... с к е м - н и б у д ь?..

Почему ж он всё время представлял, никак иначе не думал, что она — одна?..

По эту сторону ещё было солнце блеклое, но с той стороны через

Ютлиберг переваливали, переваливали быстро густые сизые тучи — и пёрли вниз туманом. Быстро заволакивало гору, склон, колокольню и подбиралось к тому берегу Цюриха.

Да как же просто...? И почему он — все стороны охватил, обдумал — только не э т у?..

Да быть не может! Товарищ и друг! Как славно бились в Кинтале с центристами?..

За холодную решётку схватился руками — через решётку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге, — завыть: Инесса! Не оставляй! И-несса!..

Написать, сейчас, не стыдясь унижения, что-нибудь — только вызвать ответ. Да ведь и почтамт открыт, прежде библиотечного часа — ах, не догадался! почтамт открыт с восьми, надо было пойти и написать! А теперь уже поздно.

А теперь уже поздно: лупили, лупили в колокола как бешеные, как дурные! — по всему городу, будто железо ремонтировали. Долбали колокола Фраумюнстера над почтамтом, долбал двойной Гросс-Мюнстер, выше вывесок на всех этажах Бель-Вю, — да сколько ещё церквей по Цюриху!

Туман и туча с той стороны озера накатились уже и на эту сторону, стало пасмурно.

Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы — ну да, раз колотят в свои вёдра — значит девять, десятый. И на почтамте не был, и время упустил, и зашёл далеко — теперь и самым гонким ходом он намного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо.

Ладно уж, письмо потом, надо работать.

Пошёл как покатил — широкий, невысокий, почти не уворачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда, но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпахивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать пресыщенных, где изворачивались предложить двадцать первый вид ветчины и сто первый сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, табаков, сервизов, часов, античности... На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стёкла вдребезг.

А — надо!

Всё тут слишком устоялось и вжилось — дома, двери, звонки, запоры на дверях.

А — надо!

Колотили в колокола со всех концов города — бешено и мертво.

44

С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли: на Церингер-плац Проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример, и вот в половине её который век — библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией.

Вошёл в тишину. Девять узких окон с угло-овальными верхами подымались на высоту пяти-шести этажей. Ещё выше, в недостижимой высоте, угло-овальные стрелы сводов сходились по несколько в узлы.

Но вся эта высота пропадала почти впустую: только два этажа деревянных хоров прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные тёмные портреты — в камзолах и жабо надутые городские советники и бургомистры,

ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени.

Ещё из тяжёлых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и ещё другое удобное — оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день.

Расписался в книге посетителей — а дежурно-улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из трёх отложенных стопок.

Одна мелкая досада, наворачиваясь на другую, могут украсть часы работы.

Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей, как начнёшь. Вот — опоздал. А у них до перерыва и полудня нет, всего три часа, и их теперь нет.

«Империализм» был уже давно отработан по двадцати тетрадям, и написан, и потерян, и переписан — а ещё стопку на ту же тему Ленин брал. Как будто нужно было что-то ещё. А будто и не нужно. Все выводы книги были Ленину ясны ещё и до двадцати тетрадей. Последнее время так обострилось в нём предвидение — он видел выводы своих книг исключительно рано, ещё не садясь их писать.

Самые сладкие удары во всей книге по Каутскому — и снять их? Мерзкий гнусный святочный дед! Более гадкого подлого лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии!

Стопка не находилась — по Персии. Он уже начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить.

Ладно, по Каутскому удары не пропадут — в другом месте где-нибудь вставим.

А ещё он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых — методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это удобнее было в Центральштелле, а не здесь.

Да нет, она всё время помогает и переводит. Вот спустится в Кларан — может приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль.

А ещё пришёл он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана (и в сумке тут была), но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте: разоружение — требование отчаяния; разоружение — это отречение от всякой мысли о революции; тот не социалист, кто ждёт социализма помимо революции и диктатуры; в будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины и дети с 13 лет. Всё верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищённые фразы. А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя — ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены — чтоб никто не мог выбрать уязвимую.

Итак, можно было (и даже он начал) просматривать. Да вот и сразу, написано в пылу: «Мы поддерживаем применение насилия массой». Накинутся! Пристроить: «...массой — против её угнетателей».

Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит.

Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут ещё много было работы. Нужно детально-детально им всё разжевать: листовки — кому разносить по домам? беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению? Скажем, свыше 15 гектар. После какого срока пребывания требовать для иностранца швейцарского подданства? Скажем — через три месяца, и важно, чтобы безо всякой уплаты. Что значит «революционно высокие ставки налогов»? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу: на имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч, — какой процент? И как облагать гостей пансионов? Тоже написать им конкретную шкалу,

ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности: если платит 5 франков в день — это наш брат, один процент, а если платит 10 франков — с этого сразу 20 процентов...

А из груди так и поднимается, стоит изжогой последняя подлость Гримма и Грейлиха. Ах, поганые оппортунисты, подлейшие мерзавцы, ну подождите, мы вас пристегнём к позорному столбу!

Что-то всё раздражения лезли, сбивали. Так бывает: им дашь разойтись — и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть.

А ещё не улёгся, сколько сил отобрал и до сих пор мешает работать этот исступлённый недоспоренный спор с «японцами». Уже было написано несколько статей и две дюжины писем, и конфликт как будто преодолён — а вот не подавлен до конца!

Никогда не удаётся все усилия собрать только в одном главном направлении, всегда открываются противники на побочных, сейчас как будто бы совсем не важных, но неважных не бывает, наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными, — и приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не «японцы» одни (Пятаков со своей Бошихой, с тех пор как бежали из Сибири через Японию), с ними и Бухарин. Не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радеком до групповой глупости, до верха глупизма — то на «империалистическом экономизме», то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверенны и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса, ни у кого нет готовной гибкости — на этих поворотах мгновенно, предусмотрительно тормозить, иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает ссунуть извилистая дорога революции.

Да! Вообще всегда говорили марксисты, что нациям предстоит отмереть и не надо никаких «самоопределений». Но! — сейчас мы вошли в сложную обстановку. И! надо пока допустить «самоопределение», чтоб иметь союзников. А поросята — не успевают повернуться.

Так и с демократией. Бухарин открыто пишет: в период взятия власти придётся отказаться от демократии. А — нельзя так писать ни в коем случае! Да, конечно придётся, — но надо считать и говорить, что социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросятам это надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду: в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что *всякие* демократические цели способны только *затормозить* социалистическую революцию. (Это — подчеркнуть двумя чертами!) Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо брать банки — а нас позовут: подожди, сначала узаконь республику!?..

Разъяснял им Ленин по многу страниц — нет, воротили носы прочь! А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганами потому, что у «японцев» были деньги на журнал, без них не начали бы «Коммуниста». Но и союз с ними имел смысл лишь пока у Ленина было большинство в редакции, а дать равенство глупцам? — никогда! к дьяволу! идиотизм и порча всей работы! лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного исхода — набьём вам морду!

С Бухариным не довёл до публичности, объяснился в письмах. А перед его отъездом такая злость взяла — не ответил ему. Теперь в Америку поехал — небось, обиделся.

В глубине признаться — он очень умён. Но раздражает постоянным сопротивлением.

Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно — в теоретических вопросах, от которых — претензия на руководство.

Но уж Радека, Радека, говённую душу, было очень полезно высечь

для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он исподтишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. (Да и в Кинтале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил.) Радек держится в политике как наглый нахальный тышкинский торгаш, исконная политика швали и сволочи! За то, как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции «Vorbote», — вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике — того считают дурачком или негодяем.

В данном случае правильно было — отвернуться. Тем более, что разногласия с Радеком — не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радеку выхода нет, как идти против Гримма, он вынужден примкнуть союзником, да каким!

Но в этой истории сподличал и Зиновьев, предлагал уступить «японцам». Так шатаются все, нельзя на самых близких положиться.

Чтобы покончить эти все бухаринские выверты — необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить «японцев» на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Коллонтайша. (Кстати, не забыть: хорошо бы подсунуть её на скандинавскую конференцию нейтралов, ну, хотя бы переводчицей при делегате, — и так вынюхать планы нейтралов!)

Да сколько их, псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. А разве лучше Троцкий с его благоглупостями — «ни победителей, ни побеждённых»? Вздор какой. Нет, это сбор дешёвой популярности, а ты попробуй, чтоб царизм был всё-таки побеждён, не дай ему вырваться из этой свалки! Нельзя быть «против всякой войны», социалист перестаёт быть социалистом.

Где сейчас Шляпников — неизвестно: ещё ли в Стокгольме? или уже в Россию поехал? До Швеции письма проходят с оказиями, через Кескулу и его людей, — а дальше Швеции? Там вообще темнота, регулярности никакой. У Шляпникова на всё вечные задержки, в Россию ездит редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему — обижается. А если б не ездил — так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК.

Тут подошёл к столу Ленина библиотекарь и, шёпотом извиняясь и прикланиваясь в извинение, положил ему стопку о Персии.

Спасибо! Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия! А что ж, взяться и за неё?

Конечно, до ЦК Шляпников никак не дорос, по развитию не Малиновский. Но место его — занял, от звания «член ЦК», «председатель Русского Бюро» голова кружится, вошёл во вкус. То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова. То с дурацкими советами чуть не в каждом письме: почему не переезжаете в Швецию? Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя, реальное действующее лицо, приходится отвечать ему, и даже по форме с почтением.

Что-то плохо врабатывался. Слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику.

Ах, Малиновский, Малиновский! Несостоявшийся русский Бебель. Как работал! Как обращался с массами! Что это был за тип, за лицо! — самозарождённый рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии — под правую руку, в дополнение, чтоб идеи приводить в массовое действие. За то и любил его Ленин, что так он влился на предназначенное место, и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая, — но как ярко и сильно выполнял! По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое — несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него — Ленин только утверждался в доверии: представить его провокатором? — невозможно! Какие зажигательные речи произносил

в Думе, как маневренно раскололся с меньшевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого-нибудь посоветовать, там Сталина, — включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятнее гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг появился он после своего самовольного внезапного ухода из Думы, — но ведь появился же, не сбежал! И целую ночь это объяснение шло. Сотрясающее открытие. Но: *доказать* против Малиновского всё равно никто ничего не может. Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла «неудобным» иметь осведомителя в лучших думских ораторах — и велела ему уйти? Вздор какой, что ж охранка — глупая, сама против себя?.. Собрали с Кубой и Зиновьевым как бы партийный суд — и оправдали Романа Малиновского: он — политически честен. А Дан и Мартов — грязные клеветники, пусть обвиняют за подписями.

О, ему ещё можно придать большую будущность. При поронинском захвате был интернирован австрийцами — но сговорились, освободили его, для политической работы с русскими военнопленными. Среди военнопленных он продуктивно используется. И он себя ещё оправдает.

А помощника такого у Ленина уже не будет... Шляпников? не-ет.

А тут — перерыв наседал. И когда они проголадываться успевают, швейцарцы, в 12 часов уже подавай им обедать?

Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошёл к нему, спросил. Не пойдёт. А нельзя в перерыв остаться? Можно.

Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяния. На пустой желудок лучше работается. И лишний час.

Теперь можно было заниматься, не торопясь. А даже вот что лучше — сейчас уже запастись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался, да их тридцать-сорок надо читать, все «Arbeiter-» и все «-Stimme».

Набрал, какие есть, принёс на стол.

Чтенье газет — из главных ежедневных работ, это вход в жизнь мира. Чтенье газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, даёт живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталпливаются вокруг тебя в читальном зале, и размахивают руками, гудят, кричат каждый своё, а ты выхватываешь — и отражаешь, замечаешь слабые места — и тут же бьёшь по ним. Читать газеты — значит, и конспектировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются под углами вправо, влево, на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетрадей и на свободные поля, и каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа, иную — в конспект, иную — сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли — для выяснения самому себе, другие — для спора, укола, удара, третьи — как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвёртые — для теоретической спевки, особенно с теми, кто удалён и даже в России.

Вандервельде и Брантинг, Гюисманс и Жуо, Плеханов и Потресов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паннекук и Роланд Гольст, — всех их Ленин ощущал как своих досягаемых раздражающих оппонентов, где б они ни гнездились — в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, — ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними со всеми единым пульсирующим нервным узлом — во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке.

А читателей — уже и не было, уже оказывается наступил перерыв.

Библиотекарь ушёл за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли, храм-читальня грандиозно высился в полусерости и гробовой тишине. И пользуясь необычным этим случаем, ещё и ещё разряжаясь от избыточной натяжки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь — от входной двери под деревянной галлереей до двух поперечных каменных длинных ступенек, перед бывшим алтарём. Получалось шагов пятьдесят, не перегороженных ни полками, ни столами.

Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатках тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром настигающем хождении, шагом охотника, расталкивая, расталкивая Гильфердингов, Мартовых, Грейлихов, Лонге, Прессманов и Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании бешеного маятника — он отбивался, отбивался от врагов.

Освобождался от врагов.

И всё больше был готов к методической работе.

И пришёл момент — на полупроходке ощутилось: довольно!

И сел работать.

Неправильная эта мысль об Инессе. Нет оснований так думать.

Нет! Не за тем столом сидел. Теперь это всё — книги, газеты, тетради, перенести на хоры, за свой привычный стол. В два приёма пришлось нести.

Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине.

И что-то вдруг устал-устал. Как свалился в свой стул.

В голове как-то...

А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему — можно было и мало есть, в нём энергия вырабатывалась почти и без еды.

У самого окна, без лампы пока. Но день сумрачный.

Читал газеты. Читал — об общем военном положении. И было безрадостно.

Ну, не так плохо, как в августе, страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось — теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить и Румынию как бы мимоходом, это изумительно, этого нельзя было предсказать два месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвидениям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закупорилось прочно и безнадёжно. И на Восточном — вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принёс Шестнадцатый год. Год назад был царизм *уже* сотрясён, *уже* почти повергнут, — а вот опять стоял и не уступил ничего! Величайшая надежда, величайшая победа — растеклась, расплылась, ушла.

В одном местечке, всего в одном местечке головы, около левого виска, образовалась как бы пустота. Плохо. Перевозбудился.

И все народы даже от третьего года такой кровавой войны — не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадёжнее всех — русский народ. Именно он нёс главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники. О Восточном фронте вообще пишут невнятно, неточно, корреспондентов там нет, знают мало и интересуются мало, да пресса Антанты и стыдится такого союзника, стараются меньше писать, но часто приводят цифры потерь. Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтём отмечал Ленин — с удовольствием и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокола и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует.

Любую пакость, любую мерзость он слопает и будет благодарить и почитать родного благодетеля.

Или свет зажечь? Как будто буквы поплыли.

Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры — соляные, холерные, медные, разинский, пугачёвский. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскачают чёрную мужицкую массу. Развращённая, расслабленная православием, она как будто потеряла страсть к топору и огню. Если уж такую войну перенести и не взбунтоваться — куда годен этот народ?

Проиграно. Не будет в России революции.

Закрыл глаза ладонями и сидел так.

Внутри — как будто обвисало. То ли от усталости, то ли от тоски.

Читатели уже собираются. Стулом двинули. Книга упала. Лампочки зажигают.

А может случиться и ещё хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через сепаратный мир?? (Подчеркнуть тремя чертами.) И Германии, когда она не может выиграть войны на двух фронтах, — что остаётся?

Вот — страшно. Вот — не может быть хуже чего. Тогда проиграно — всё. И мировая революция. И революция в России. И — вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий.

Такое сообщение — о подготовке сепаратного мира, о тайных переговорах, уже *официально* идущих между Германией и Россией, и что в главном обе державы уже столковались, — недавно напечатала газета Гримма «Бернер тагвахт». Подпись была — К. Р. Не надо спрашивать плута Радека, чтоб догадаться, что это — он. (Но как мог Гримма убедить!) И достаточно зная его шипучую находчивость, можно догадаться, что он не подслушал разговора дипломатов, не подглядел тайных бумаг, и даже слушка такого не подхватил нигде, а, залежавшись на полдня в постели, газеты на одеяле, газеты под одеялом и книги под кроватью, он иногда сочиняет что-нибудь такое «от нашего собственного корреспондента» из Норвегии или Аргентины.

Но не в том дело, как родилось именно *это* сообщение. И не в том, что русский посол в Берне опровергает, — а что же ему иначе?.. Дело — в пронзительной верности: для царя это действительно верный выход! Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо — ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны, — а начали! а — сделали нам такой подарок!

Так что, может быть, и сейчас ещё можно их напугать разглаской — и отвратить?

Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.

А всё равно уже: в России ничего не сделать. Кто там читает «Социал-Демократа»? А за Милюковыми и Шингарёвыми все следят. В России слышно — одних кадетов. И вон как встречали делегацию их на Западе. Царь додумается, потеснится немножко, уступит министерства Гучкову да кадетам — и уж тогда их совсем не возьмёшь, не пробьёшь.

И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он

не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур. Ленин был — струна, Ленин был — стрела. Ленин с первого полувзгляда оценивал дело, обстоятельства и верное и даже единственное средство к цели. И что ж его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией — двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас, после создания циммервальдской левой, он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм — безнационален. Вот уехал Троцкий в Америку — правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверно и надо, в Америку.

Нет, что-то сегодня не то в нём самом. Не так день начался, не так завертелся. Как будто тело его, самый корпус, грудь не успевали за быстрой головной проработкой — и у левого виска была пустотка, и какое-то дупло усталости проявилось в нутре, — и вся оболочка тела как будто стала оседать по дуплу.

Многое сошлось сразу, и вдруг он ощутил, что не вытянет сегодня хорошего рабочего дня, но катится под гору раздёрганный, неудачный, даже тоскливый.

Вообще, политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор — но даже у него раза два в год выдавались дни, когда этот напор опадал — до уныния, до изнеможения, до прострации. И такие дни уже до вечера нельзя исправить, только раньше лечь и крепко спать.

Кажется, отлично владел Ленин своей головой, своей волей — но против этих накатов безнадёжности был бессилен даже он. Безусловная истина, твёрдая перспектива, проверенная расстановка сил, — вдруг начинало всё оплывать, сереть, сползать, всё оборачивалось к нему серым тупым задом.

А внутри сидящая, вечно сторожащая болезнь вдруг выпирала углами, как камень из мешка.

К виску выпирала.

Да. Всегда он шёл путём неприятия компромиссов, несглаживания разногласий — и так создавал побеждающую силу. Уверен был, предчувствовал, что — побеждающую. Что важно сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но — централизованную строго. Примиренчество и объединенчество уже давно показало себя как гибель рабочей партии. Примиряться — с разоруженцами? примиряться с нашесловцами? примиряться с русскими каутскианцами? с мерзавцами из меньшевистского ОК? идти в лакеи к социал-шовинистам? обниматься с социалистическими Иванушками? Нет, к чёрту! — малое меньшинство, но твёрдое, верное, своё!

Однако постепенно он оказывался почти в одиночестве, преданный и покинутый, — а всяческие объединенцы или разоруженцы, ликвидаторы или оборонцы, шовинисты или безгосударственники, помойные литераторы и вся паршивая перемётная обывательская сволочь, — все собирались где-то там тесным комом. И до того иногда доходило его меньшинство, что и вовсе никого вокруг уже не оставалось, как в тоскливом одиноком 908-м, после всех поражений, — тоже здесь, в Швейцарии, самый страшный тяжёлый год. Интеллигенция панически покидала большевистские ряды — тем лучше, по крайней мере партия освобождалась от мелкобуржуазной нечисти. Среди этой мерзкой интеллигентщины Ленин чувствовал себя особенно унизительно, ничтожно, потерянно, отчаяние было ощутить себя утопающим в их болоте, идиотство было бы походить на них. Каждым жестом и словом, даже руга-

тельствами — только бы не походить на них!.. Но уж совсем никого не оставалось, уж до того дошло, что хоть десять-пятнадцать сторонников надо было задержать, оставить! — и для этого одного, в охоте за пятнадцатью большевиками, чтоб не отдать их махистам, гонять за материалами в Лондон и писать триста страниц философского труда, которого и не прочёл никто, но Богданова — опозорил! сбил с руководства! И потом сырой осенью всё ходить, ходить зябко вдоль Женевского озера и бодро повторять, что мы не упали духом и идём к победе.

И вот с умнейшими, как Троцкий и Бухарин, не находится общего языка. И в немногих, кто остался вблизи, как Зиновьев, тоже нельзя быть уверенным вперёд дальше месяца — так слабы его нервы, так непрочны убеждения. (Да никаких убеждений у Гришки нет.)

Сила — не создалась. Весь его курс, 23 года непрерывных боевых кампаний — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма, вся эта твёрдая судьба под градом ненависти — к чему привела его, кроме изоляции? Он по инерции продолжал свою линию — разрывов, клеймлений, отмежеваний, но сам утомлённо понимал, что на том и завяз, что настоящего успеха — уже никогда не будет.

Одиночество.

И даже рассказать, поделиться, свой голос послушать — вот, не с кем...

Ну, день... Всё вываливалось и отвращалось, бесплодно просиживал часы.

Стопки книг, стопки газет... А за годы эмиграции — целые колонны бумаг, кип, дестей, — прочитанных, просмотренных, исписанных...

Когда он был молод — носилось свежее ощущение близкой революции, простота и краткость ожидаемого к ней пути. Он всем повторял: «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции!» Счастливое ожидание!

Но вот, последние девять лет, после второй эмиграции, — чем же наполнены, набиты, напрессованы? Одними бумагами, конвертами, пакетами, бандеролями, перепиской рутинной, срочной — сколько же, сколько времени уходит на одни письма (да и франков на марки, но это из партийной кассы)? Почти вся жизнь, половина каждого дня — в этих нескончаемых письмах, никто не живёт рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это — с друзьями, а всё ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!), — и именно сегодняшнее, се-часовое письмо всегда кажется самым срочным и важным (а через день иногда — и пустым, и опоздавшим, и ошибочным). Обсылаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтеньем и выписками из газет, целыми повозками газет, иногда выпусками своих журналов, по несколько номеров, не дальше, — и никакого настоящего дела, и не поверить и не представить, что через мир, заваленный ворохом бумаг и бандеролей, способно пробиться общественное движение — к заветной задуманной государственной власти и там понадобятся от тебя качества иные, чем эту дюжину лет в читальных залах.

Кончал он свой сорок седьмой год — жизни нервной, однообразной, всё чернилами, чернилами по бумаге, в однодневных, однонедельных вспышках вражды и союзов, споров и соглашений — архиважных, архитактичных, архиискусных — и всё с политиками настолько мельче себя, и всё в бездонную бочку, без задержки, без памяти, без результата. Всё дело его подвижной, поворотной, переносной жизни билось, билось и упиралось в непроходимый хлам.

И вот — обвисали руки, и спина не держалась, и кажется — всё, выдохся весь до последнего.

А болезнь — грузнела внутри, иногда расхаживала и скребла. Она

звука не подавала, она в спор не вступала, а сильней её — не было оппонента.

Беда, вошедшая навсегда.

Единственно, к чему он был призван — повлиять на ход истории, не было ему дано.

И все его несравненные способности (теперь-то оцененные и всеми в партии, но сам он знал их ещё верней и выше), вся его находчивость, проницательность, хватка ума, всё его бесполезно-ясное понимание мировых событий — не могли ему принести не только политической победы, но даже положения хоть члена парламента игрушечной страны, как Гримму. Или даже — успешного адвоката (впрочем, адвокат — отвратительно, в Самаре он проиграл все суды). Или хотя бы журналиста.

Оттого, что он родился в проклятой России.

Но со своим обычаем честно выполнять самую кропотливую работу, он всё ещё пытался сегодня составлять свои подробные учительные тезисы швейцарским левым циммервальдистам. По дороговизне, по невыносимому экономическому положению масс. Какой установить предельный максимум жалованья для служащих и чиновников. И как следить за партийными органами печати. И как выживать из партии реформистов-грютлианцев...

Нет! Не строилась работа... Ушла полнота из рассчитанного распорядка, и осталось дупло. Голова заболевала. Дышалось плохо. Противно стало даже смотреть на бумаги. К утру должен был приступ миновать, но сейчас такое ко всему отвращение, что хоть на пол лечь.

И — преступно не досидев рабочего дня (впрочем, не так уж много и оставалось), он через силу скидывал тетради, рукописи в свою провизионную сумку, собирал, захлопывал книги, стягивал газеты в пачку, что́ ставил на полки, что́ понёс библиотекарю, осторожно ногами по ступенькам, чтоб не грохнуться с этой кипой.

У двери натянул тяжёлое пальто, насадил котелок как попало, побрёл.

Каждый день одна и та же дорога не задавала задачи ни ногам, ни глазам: шлось само.

К сумеркам было, и ещё туман. В окнах магазинов и ресторанов уже горело электричество.

По узкому переулку катили широкую бочку, за ней — тачку. Не обойдёшь.

Легко, легко не выбраться из этой стиснутой, маленькой, закисшей, мещанской Швейцарии, так тут и кончить жизнь при Кегель-клубе.

У гастронома, видно через окно, никелированная машинка равномерной подачей резала ровные пластинки привлекательной ветчины. И видами мясного завалена была витрина. Бакалейщик, самодовольный по-швейцарски, вышел на порог своего заведения и одному прохожему за другим — знакомым, не знакомым? — отвешивал своё бесплатное «грётци!». На третьем году войны магазины оставались навязчиво изобильны, только сильно подпрыгнули все цены от подводных лодок. А буржуа стояли и ещё перебирали.

По холоду хоть не стали выставлять столиков из кафе на тротуары — а то сидят, на прохожих глазами лупают, а ты их обходи, чертыхаясь. И во всё своё эмигрантское время ненавидел Ленин кафе — эти обкуренные гнёзда словоизвержения, где заседало 9/10 революционного словоблудия. А за войну, тут близко военная граница, натянуло в Цюрих ещё новой мутной публики, из-за них комнаты подорожали, авантюристы, дельцы, спекулянты, студенты-дезертиры и болтуны-интеллигенты, философскими манифестами и художественными протестами якобы бунтующие, сами не зная, против чего. И все — по кафе.

Да такая же благополучная, наверно, и Америка. Везде верхушка

рабочего класса предпочитает богатеть и не делать революции. Ни там, ни здесь никому не нужен был его динамит, его взмах топориный.

Способный весь мир раскроить, взорвать и перестроить — он слишком рано родился, только себе на муку.

Середина Шпигельгассе — сильно горбатая, на своей отдельной горке. От себя, в какую сторону ни иди, — размашисто вниз. К себе, откуда ни возвращайся, — круто вверх. Когда разогнан или бодр — не замечаешь. Но сейчас еле-еле тащился. Не шёл, а ногами заскребал.

Узкая крутая лестница старого дома с многолетними запахами. Уже темно, а лампы не зажгли, наощупь ногой.

Третий этаж. Всеязычный галдёж, тяжёлые запахи квартиры.

И своя комната, как тюремная камера на двоих. Две кровати, стол, стулья. Печка чугунная, в стенку труба. Нетопленная (а пора бы). Перевёрнутый ящик из-под книг как посудный столик (из-за вечных переездов не покупали мебели).

При последнем дневном свете Надя ещё писала за столом. Обернулась. Удивилась.

Но, привыкшая к этому свету, разглядела жёлто-бурую кожу на шестидесятилетнем лице Ильича, тяжёлый мёртвый взгляд — и не спросила, отчего так рано.

Уж знала она у него приход этих упадков до прострации — иногда на дни, а то — на несколько недель. Когда он слишком вырабатывался в возбуждении, или когда в борьбе надламывалось даже его железное тело. После II-го съезда был такой упадок нервный, после «Шаг-два-шага», после V-го, да не раз.

Котелок утомлял голову, старое пальто утомляло плечи. С трудом их с себя сдирал... Надя помогла снять... Потащил по комнате ноги и сумку с тетрадями.

Нашёл силы посмотреть, что́ Надя писала, к глазам поднёс. Расходы.

Набирался, набирался столбик цифр удручающий.

В 908-м хоть и мрачно было, хоть и одиноко, так денег завались, после тифлисского экса. Счёт в «Лионском кредите». С тоски ходили в концерты по вечерам, ездили в Ниццу в отпуск, путешествовали, гостиницы, извозчики, в Париже сняли тысячефранковую квартиру, зеркало над камином.

Сел на кровать.

Сел — и осел, уменьшился. И в пружинах утоп, и голова утопла в плечи, совсем не осталось шеи: оттяжка темени — на спине, подбородок — на груди.

И одной рукой, впереди себя, держался за край стола.

Один глаз был полузакрыт. А рот полуоткрыт. С губы торчала бесформенная шерстинка крупноволосых усов. И нос придавленным своим передом выставлен вперёд.

Так сидел. Минуту. Другую. Третью.

— Ляжешь? Раздеть? — своим мягко-деревянным голосом спрашивала Надя.

Молчал.

— Ты что ж в обед не пришёл? Зазанимался?

Кивнул, с усилием.

— Сейчас будешь? — Но голос её не обещал густого плотоядства, так никогда и не научилась готовить.

То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчёнкой-прислугой.

Уж совсем облысел купол Ильича, только и оставались волосы задние, тоже не густые. (Ещё попортили и сами в 902-м: на врача денег пожалели, по совету русского медика недоучившегося сыпь на голове йодом лечили, и посыпались волосы.)

Надя переступила ближе. Тихо, осторожно пригладила.

Несколько глубоких длинных морщин пролегли через весь, весь лоб его, вдоль.

Ильич вздохнул толчками тяжёлыми — как в оглоблях, с силой некабинетного человека. И нисколько не подымая голову из утопленья, не видя жену, а — перед собой, над столом, заморенно-заморенно:

— Кончится война — уедем в Америку.

Да он ли это?

— А циммервальдская левая как же? А новый Интернационал? — стояла печальной распустёхой.

Вздохнул Ильич. Глухо, хрипло, без силы в голосе:

— В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь — с кадетами сговорится. И будет пошлое нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И — никаких надежд революционерам. Мы — уже не доживём.

А что? И уехать. Она приглаживала его дальние редкие волоски.

Тут — постучала хозяйка: кто-то к ним пришёл, спрашивает.

Ну, только! Ну, нашли время! Надя и не советуясь пошла — отказать и выгнать.

А вернулась в недоумении:

— Володя! Скларц! Из Берлина...

Из Берлина?..

Да кто угодно, только б вылезти из этого болота!

ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЁС

45

В канун Казанской, в пятницу, бабы варили и пекли, не разгибаясь, щёки не остывали от жара. И с соседних деревень — из Волхонщины, Изобильной, Торчков, Бредихина и даж с Журавлиного-Вершинского, на рысаках и разодетые съезжались родственники к родственникам на престол. Третий год продирали, продёргивали их волость — а до чего ж ещё многолюдна была! Мужики середовые ещё все дома, и славные здешние кони не перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя сверкала и звенела, а на мужиках — пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых — ни на ком. А уж бабы в церковь — во всех цветах да сборочках, нык и в польтах касторового сукна, на матери — турецкая шаль, Катёна — в высоких ботинках-румынках, на шнуровке.

С синекустовских отрубов приехала к Благодарёвым в дом и адрианова жена Анфиса с тремя ребятишками. Как и гостья, а и по хозяйству пособляла, к Благодарёвым так гости и текли, на служивого смотреть. И всем бы Анфиса ничего баба, и как будто родня, а зависть свою не перегораживает, да оно и правда обидно: Адриан два раза ранетый был — а креста нет, Сенька ни разу — а два креста.

Так ведь как сложится, Сенька что ж? Сеньке и самому неловко. И, как бы исправиться, от приезда ломило его руки на работу, будто он все эти годы пушечного хобота не ворочал, снарядов не вбрасывал в казённую часть, земли не капывал, — вся та работа не в счёт, как не деланная, а вот сейчас-то бы и приложиться впервь! — так дни не такие, приехал под праздники кряду на три дни, на пир да на добрые люди, — и ходи от стола к столу, показывайся.

Праздники шли косяком. В субботу — Казанская, престол. В канун перед им волостное правление и повсегда флаг вывешивало: восшествие императора, тоже-ть на престол. А в этом году накладалась на престол и Дмитровская суббота, поминовение родителей. Следом — воскресенье, второй день престола, с молебнами по домам, и во всю гуляли, лишь к вечеру разъезжались. А на понедельник — Всех Скорбящих Радости, и опять в церкви служба, и опять на весь день праздник, уж теперь середь своих, каменских.

Так каждое утро, студёной водой от вчерашней гульбы голову проняв, шли Благодарёвы к заутрене и к обедне, дома оставивши то мать, то Катёну, а то Феньку одну с малы́ми.

По звону — со всех каменских холмов, изо всех домов шли, спускались и к церкви подымались разодетые сельчане — бабы в шёлковых головных и наплечных платках, алых и синих, в полусачках и даже в шубейках, кому будет жарко — в притворе повесить можно. Даже мужики в цветном, старухи в праздничном чёрном, даже мальчики — и те в сапогах, выбирая где суше, — пройтись, показаться, куда ж и одеться?

Перед отцом Михаилом был и долг у Арсения вечный: ведь и его б, как Адриана и как сестёр, не отпустил бы отец на ученье, не было достатка, и тогда ещё такого уряда не было — учиться. Уже слал отец Сеньку подпаском, да проведал отец Михаил, и внушил Елисею и дал десять пудов ржи, чтобы только сынишка в церковную школу пошёл. (Земской тогда ещё в Каменке не было.) То ещё был отец Михаил старший, нынешнему отец, кто взрослых прихожан ма́лушками звал, покойный теперь, — а вместо него сын заступил, опять же отец Михаил Молчанов, и службы служил с той же строгостью, по воскресеньям обедня боле двух часов, и требы с тем же старанием, и такой же тихий был, так же шли к нему спросить-рассудить по совести, только уж малушками взрослых не звал. И в саду всё с лопатой и с ножницами, продолжая и в том отцовское, и домик сиренью обрастил пуще.

Прежде читал у него Арсений часы и пел в хоре — и сейчас, узнав о приезде, прислал отец Михаил наказать, чтоб на праздники прямо в хор выходил, а на Казанскую бы причастился. И кубыть третий год не вырван был Арсений, не выхвачен как волчьим укусом, не таскался между взрывов и пожаров, не хоронился в окопах и в воронках от прострела и сам не посылал немцам такого ж гостинца, — тут всё та ж была церковь издетская, своесвойская, и иконы всё те на местах и ставники со свечами, и те ж перильца у клироса, и в той же ризе отец Михаил перед теми же резными вратами. И хотя доставалось Арсению и на войне постоять на молебнах и панихидах против алтаря составного рамчатого, и на тот же распев служба, а там будто не настоящая, как вся та жизнь военная не настоящая, привыкнешь — не замечаешь, а только в своё село воротясь — очнёшься. И вот опять выпевал Арсений голосом вольным, немеренным. И со своими сельскими слушал глас ко празднику:

Не умолчим николи, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? кто же бы сохранил доныне свободны?

Поётся ли иль возглашается нараспев, понятны ли кряду слова или со смыслом тёмным, за каждым ли следишь или относишься мыслью и под пение задумаешься о своём, хоть бы вот — что после войны будет, как заживём с Катёной хорошо, — а те молитвенные слова всё одно воздымают тебя над жизнью колотьбенной, как и сам этот храм, ни с чьею лучшей избой не сравнимый, в наряде однако смиренном, — каждому открыт, каждого ждёт и всех равняет. И хотя, у престольной службы стоя, всегда знают, что едва спустя начнётся общая гульба, пьянка, и конские бега, и торги, и драки — молодых парней стенка на

стенку, там и разъярённых взрослых мужиков, — а тут напомнено тебе, что всё это — муть и пена, а все мы — міp, одного Бога дети, и не гожо нам друг на друга злобиться. Все стоят смирно, до времени головы гнут, у кого и гордые, и задиристые, и когда на колени надо — так все на колени, а если кто в мыслях лишь о жизни обыденной и попросил у Бога здоровья детям, скотинке алъ помощи в задумке своей по хозяйству, так и тоже правильно, нету тут злого. Захленись ты, чтоб тебя разорвало и убило! — такого тут не попросят.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице: Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Чуть если повернуться Арсению больше, то можно краем увидеть на левой, бабьей, стороне, в тесноте престольной, как стоит и молится Катёна. Такая тихоня проворная, чистенькая, так истово глядит на Богородицу да быстро кладёт поклоны поясные, вниз легко и вверх легко, лишъ платочек взлетает хвостиком. И по виду её свято-весёлому, по готовности к поклонам, никогда не сказать и в думке не представить, чтобы были у неё когда-то грешные мысли прежде, в той же баньке или до ней, или чтоб сейчас она таила их на будущее.

Пел что положено с хором Арсений, а про себя хвалил: слава Тебе, Господи, какую жёнку Ты мне послал, — и видом, и справой, и норовом хороша ты, моя жёнка, лучше не надо!

А потом валил народ из церкви, с холма рассыпаясь, — к угощениям. Кроме праздников в Каменке раньше никогда хмельного не пили, иначе ты не мужик и не хозяин. С войны отняли и казёнку — однако без хмельного не остались: брагу, пиво и всегда варили, а тут научились из зерна гнать перегон, ещё крепче водки, — на воздым подымает, такое весельство. Теперь громахонов, скажи, семь появилось в Каменке, и такую взяли моду: выставлять их на скамьях перед воротами или в раскрытом окне, для общей забавы, вперебой гармошкам. А перед пожарной, где земля хорошо утолочена, молодёжь танцовала. И песни пели во всё горло, чтоб аж драло, с холма на холм.

А после престольного веселья всегда дрались парни, от разных деревень, вовлекая и взрослых мужиков. Ныне — веселья заметно поменьше, а драки, напроть, и без престола. В сём году драка была чуть не насмерть между пьяными рекрутами, нашими и волхонскими, не дождутся вишь немца, еле разняли урядник со стражником, пускали и воду из пожарной машины. И ещё развелось — озорство крайнее, какого раньше не слыхивали. Восемнадцатилетний Мишка Руль, сын почтенного отца, собрал компанию парней и шкодили зло, как никогда не ведено: воровали домашнюю птицу, затыкали трубы печные, и мужицкие сады обламывали — дело нестаточное, яблоки грабастать принято было всегда лишъ у помещика. И ни на чём как след не пойманы, и отец с Мишкой Рулём ничего поделать не мог, ждал армии.

Эти три дня смешались, не разделить: из избы в избу, от угостья к угостью — и где кого видал? где чего набуздались? — мясо да рыбу, печево да студни. Ходил Арсений, потряхивал двумя Егорьями, с шинели на рубаху их перецепив, и который раз охоче рассказывал, за что дали, и как вообще воюют, и какие германцы, и о солдатской славной службе кричал через рёв, через гармонь, через стол наискось: «Знай службу, плюй в ружьё, да не мочи дула!!» Аль: «Не что солдату и без шубы деется, идёт да греется!» Но хотя и ещё такое было присловье — «солдат в отпуску — рубаха из порток», а сам затянутый ходил, да рядом с таким становитым батькой живот распустить и погорбиться — срам. И чего б ни спросили Сеньку, через гул крича, или за грудь тряся, или руку на плечо, — на всё он ответ давал уверенный, когда и знал и не знал: и — правда ль, что немец уже не бонбы кидает, а прям огнём рыгает? и — правда ль, что за хранцузов чёрные черти воюют, прям-таки во плоти, и не скрываются? И — зачем же с немцем так люто

воевать, коли они — крещёный народ, вроде нас? другое дело — с турками, с японцами...?

Ну, и пето было во всю глотку.

Так и толкались эти дни, всё в стенах, и только переходя из избы в избу или выйдя голову обветрить на сырой холодок, видел Арсений небо за тучками, порой растянутыми до полотна, солнышком просвеченного, и видел раскинутое своё село: от одной горки, где стоял помещичий давыдовский дом и откуда главный порядок спускался к мосту через ручей, — и дальше от моста, от плужниковского кирпичного дома наверх, на другую горку, туда, за увал, к новому спуску, уже к Савале, и новому холму на Князев лес, — аль вбок, на холм, где храм, дом и сад поповский, кладбище, приходская школа, где Арсений учился, земская школа, больница, лошадиная лечебница до роща. И ещё распахнут был вид на просторные луга к Савале, как она обходила село дальнею дугой, на хутора кое-где отступя, и как большак, петлянув, уходил на станцию Ржакса. И на это всё поглядя, да представив за Савалою, там где-то, и свой уже будущий хутор выросшим, — опять к столу, яства пересменились, зовут томлёные кравайцы в сливки кунать аль черепельники заливать чаем.

А потом праздничный обед сном золотили.

Эти ж дни нашёлся досуг и Савостейку к себе приручать — ребёнка рази ж минуешь, не потрогав? К отцовским рукам Савоська ещё не идёт, прячется за мать да за бабку, «деда» уж говорит и за усы его охотно тягает, а «тятю» не понимает. Но за три недели ещё ка-ак привыкнет. До того свою кровь чуял в нём Арсений, не просто знал, что — его ребёнок, от своей жены, но коли б и скрыли от него, солгали бы, что дитя чужое, всё равно он кровно бы разыскал, отличил, что это — его капелька. И малыш тоже вот-вот почует, уж так на отца глаза вылупляет, уж и приникал разок, тихо так приникал.

Да что Савостейка — Проська из зыбки, отца завидев, соску покидает и смотрит за ним, смотрит.

Глаза у Проськи — как небо в вешний день.

Сегодня, Всех Скорбящих, опять были у обедни, но покороче. После сказал батюшка проповедь, согласно ко дню, что скорбящие — все мы, что никого скорби не обходят, и ещё горшие не обойдут, но скорби должны нас не разъединять, а объединять перед Богом, объединять пуще удач, радостей и праздников.

А когда расходились от обедни, то невдали от паперти подошёл к Елисею и Арсению — сам Плужников, видный мужчина со смоляным чубом, в поддёвке дорогого тёмно-синего сукна, в лаковых сапогах с жёсткими негармошчатыми голенищами, — и пригласил отца и сына к себе на обед через два часа.

Почёт георгиевскому кавалеру! И отцу не мене. Плужников не по достатку, не по возрасту, а по мирскому счёту был как бы первый мужик в волости — и достиг того в немногие годы уже после смуты. Раньше было и не предвидеть, как он в гору пойдёт: он скорее был баламут, сред тех был нескольких мужиков, кого помещик Василь Васильич да дьяконов сын Алёшка Херсонский в кустах подговаривали против царя. Сам-то Василь Васильич во Францию ушёл, а с их волости и двух соседних собрали семёрку мужиков, сослали в Олонецкую губернию, средь их и Плужникова. Да не за то одно, а какую-то он связь имел с е-серами из Тамбова. А ещё тогда ж он был староста товарищества, и собрали деньги, землю покупать, — а перед самым банком будто е-серы сменили им на фальшивые? До того точно никто не доведан, но Плужников два года в ссылке пробыл. А воротился — не узнать: как и был — остался мужичий вожак, а — разумный. Поставил кирпичный дом, хозяйство поднял, две сотни ульев, докупил земли да затеял крестьянское кредитное товарищество, открыл мужикам эту выгоду и простор: не хлопотать, не выискивать покупателя своему то-

вару, самим далеко не ездить, а всё выправит товарищество, и тебе же ссуду даст, хорошо! — такого сроду не было. В годы перед войной своими делами, суждениями и мирскими обсоветами заслужил Плужников, лишь недавно за сорок переступя, звание «батьки», но не как прозвище уличное, то отлипло, а так и чли его Григорием Наумовичем. Как вожака зазнали его и далеко шире волости.

Хотя Плужников и постоянно уваживал старшего Благодарёва то словом, поклоном, то делом каким по кредитному обществу, однако за стол друг ко другу они не хаживали, и понял Елисей Никифорович, что зовёт его Плужников больше ради сына. Но и в этом состояла не обида, а почёт, ибо верно говорят: не гордись отцом, гордись сыном-молодцом: отца себе не выбираешь, не взращиваешь, а сын — от начала до конца твоё племя, твой плод, по нему и осудишься, по нему и охвалишься.

И степенно головою кивнув-поклонясь, Елисей Никифорович принял приглашение за себя и за сына.

Удатная голова у старика и на шее как молодой. Взгляд с годами покойный, а до того проницательный, что даже Плужников принял его без знаемого своего превосходства над мужиками. Он-то приглашал, да, ради сына, фигурой на селе становился сын, двойной Георгий, и грамотен, и орёл, Плужников уже жил близостью послевоенного деревенского устройства, где многое мнилось ему обновить и расширить, и этакие орлы ещё как пригодятся. Однако ж вот и отец как хорош. Ох, велика ещё наша деревенская сила, не выбита и двухлетней войною. Плужников усвоил за собой обязанность сплачивать всю эту силу.

А рядом стоял, поджидал Плужникова — в суконной тройке с часовой серебряной цепочкой от кармана — свой сельский торговец, уважаемый человек, купец-тысячник Евпатий Бруякин, а по наружности так ничего важного, умылся и вытерся. Но между ними уже начат был важный и даже ошеломительный разговор — и теперь предстояло продолжить. Бруякин открыл Плужникову своё решение, ещё никому не объявленное: свернуть и прекратить всякую торговлю! Плужников встретил резко несогласно. Это в голову не убиралось: чтоб свой купец, и ни за так, на гладком месте, бросил торговлю? Сейчас у Плужникова дома ещё городской гость сидел, надо идти, и они с Бруякиным, чтобы договорить, пошли в беседе, у всех на виду, медленным праздничным шагом по сухому косогору и потом крюком мимо земской больницы.

Торговать начал ещё отец Евпатия — Гаврила, а Евпатий — с 8 лет, под рукой отца, сперва — в разъездах. Уже с 13 лет имел амбарные права, хотя записанные на отца, с 16 — на себя, потом и бакалейно-галантерейные права, — и с тех пор вот уже 30 лет, и вся волость знала, что у Сати (по-уличному) есть — всё. Лавка его была на главной улице Каменки и подъезд к ней усыпан речной галькой. Снаружи сбоку соштабелёваны брёвна, плахи, столбы, жердинник, тёс, тут же нанятые рабочие пилили вдоль. Перед входом стояли весы до 10 пудов и керосиновая бочка с насосом. Толстые наружные двери и ставни закладывались железными накладками с болтами в пробои, а когда заперты были только остеклённые двери, то пришедший дёргал звонок за верёвку, и кто-ни-то из семьи спускался со второго этажа их полукаменника обслужить. В большом помещении лавки густо было запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дёгтем, олифой, ящики с колёсной мазью, мелом, известью, гляди не споткнись на полу о ящики с подковами и гвоздями всех размеров, у стен — коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги. Расписная деревянная посуда. На полках — ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы, — корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше — эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону — бочки с селёдкой и солёной рыбой, ящики с сушёной и копчёной воблой. На

возвышении в три ступеньки (чтоб легче снимать к весам и в телегу) — рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром, и сахар в конических головах, обёрнутых синей бумагой и шпагатом, — всех размеров от полной головы и до осьмушки. Там и пилёный сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко. В откосных ящиках — пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаге монетками в «рубль» и в «полтинник», прессованный изюм, финики, винные ягоды, сушёные сливы. (А летом — арбузы, дыни и виноград.) И другая бакалея. И папиросы — Шурымуры, дядя Костя и Козьма Крючков, и машинки для набивки, табак листовой, сечёная махорка, курительная бумага, писчая бумага, тетради, химические и цветные карандаши, грифельные доски.

Но больше-то всего любил Сатя торговать красным товаром — ситцем, сатином, даже батистом и шёлком: этот товар давал ему дело и сближенье с бабами, которых он страсть любил, тем более, чем сам был невиден. С этим товаром он выезжал и на все окружные ярмарки, на двух подводах. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки же были забиты драпом, плюшем, шевиотом. И сукном для штанов, пиджаков, костюмов. И шалями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими. И головными платками, и разноцветными лентами. С верхних полок доставали товар с лесенки, а то даже только ухватом. А на прилавке лежали приотвёрнутые рулоны клеёнок. А под стёклами — пуговицы ста сортов, кружева, булавки, приколки, вязальные спицы, гребни, расчёски. А ещё на подставке строились валенки, чёсанки, бурки, чёрные, серые, белые, даже и с красной и зелёной вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное чем Бруякин не торговал — кожаной обувью. Но продавал заготовки.

И этакую тридцатилетнюю заведенность, этакую махину и богатство, и удобство села — и прикрыть, закрыть, уничтожить? Разом и свою жизнь прикрыть — и обезличить Каменку? Да — зачем же? И куда это всё поденется?

Плужников так и взнялся против. Но убеждён, что отговорит Евпатия, прихватит его замысел в начале.

У Евпатия Бруякина лицо было мягкое, даже услужливое, ни в чём по своете не прорезанное, — в чём бы тут и перекору держаться? Чуть-чуть бородишка, чуть-чуть усишки. Вид его был всегда такой, что слушает охотно, готов учиться, готов исполнить. А нет, глаза смекучие, плутовитые, знали себе своё.

— Э-эх, Григорий Наумыч, — вздыхал он, многими ночами отдуманно. — Спроси птицу, откуда знает про непогоду вперёд? Почему загодя прячется? А иначе бы сплошь гибла. Так и я. Вот чую.

— Да из чего чуешь? Почему я не чую? Где это видно? — внушал ему Плужников властно, как привык. — Что, с товарами похужело?

— Пока ещё не видно, — соглашался Евпатий. А в глазах — тоска уколами: — Однако — чую. Как в Пятом году Анохина разграбили, Солововых. И опять на то поворачивает.

— Да никак не на то! — сердился Плужников, с ним поди поспорь. — Дело вертается к мужицкому развороту. После войны-то, гляди, мы и заварим дело!

— Ох, не-е... Ох, не-е, Григорий Наумыч. Не прошибись. Торг любит волю. А не будет её.

— Воли не будет?? Да откуда ты берёшь? не будет? Именно к нашей воле идёт! — посверкивал смоляный Плужников.

— О-о-ох, не прошибись, Григорий Наумыч. Худое время подошло.

— Так тем боле — міру послужить? Свой купец — весь народ укрепляет.

— Торг — дружбы не знает, — разводил Евпатий руки — однако

уцепчивые, ловкие руки, с сильными пальцами. — Затворяй ворота, пока улица пуста.

Плужников так и брал взглядом насквозь. И — недоуменно. Кто-то из них двоих шибко промахивался. Плужников не привык, чтобы — он.

— И что же, кто же место подхватит? — уже соображал он деятельно. — Кооперация?

Только чуть усмехнулся Бруякин под мягкими белобрысыми усишками:

— Без хозяина товар сирота.

— А ты сам — что делать будешь?

— Да хоть земли прикуплю, запашку увеличу.

Он хозяйство полевое и без того не бросал.

— Ну, погоди, не решай, подумаем! А куда — товар? Да куда же всё? Да как же Каменка будет? Да не может быть!

Разговор прекратили, — уже подошли к дому Плужникова — к восьмиоконному, крытому железом кирпичному пятистенку с выступными кирпичными наличниками, вдоль ручья, поперёк улицы, у самого моста.

Хотел Бруякин к себе возвращаться, но зазвал Плужников зайти потолковать с приезжим городским — это Зяблицкий был, прежде по земству, а уж сколько-то лет по кооперации, а теперь ещё и уполномоченный по закупкам. Он ехал в Каменку по делу, в понедельник с утра, никаких Всех Скорбящих не знал, и что престол ещё не кончился, — и вот вместо дела попал к браге да к стерляжке.

Агаша и тёща хлопотали в избе, и детишки там, а мужчины прошли прямо в горницу.

Приезжий сидел-скучал, тут обрадовался. Был он в городской паре, с дюже белым воротничком, и светленько глядел через очёчки. Щупел, с шейкой тонкой:

— Анатоль Сергеич...

Ну и Бруякин приосаниться умеет:

— Евпатий Гаврилыч.

А Плужников с усмешкой:

— Вот, поговори с ним, он и тебя в кооперацию втянет.

Горница была аршин семь на семь, с тремя окнами к улице, с тремя к ручью, и даже в тёмный день и через цветы на подоконниках и кружевные занавески — светла. Пол — из двенадцативершковых досок, ни горбинки, ни щёлки, закрашен вгладь, а стены — по-городскому штукатурены и белены. И обставлена была горница тоже по-городскому: ни единой скамьи, гардероб дубовый, горка с лучшей посудой, высокое зеркало в резной раме, смотрись хоть в целый рост, кровать — из никелированных трубок (а по-деревенски — свисает кружевной подзор ручной работы, покрывала одно из-под другого, по две подушки в головах и в ногах). И стол — не в красном углу (и самого красного угла нет), а выдвинут на середину, под шитой бордовой скатертью, и вкруг него гнутые стулья. Ещё — диван жёсткий, с изрезною спинкой, граммофон из угла трубу наставил, и подле него — кресло.

Плужников говорил: старое хвали, да со двора гони.

Зяблицкий и видел в таких, как Плужников, — вход в деревню для интеллигенции и для разумных идей. Он уже второй десяток лет служил то земским статистиком и экономистом, то вот кооператором, тем самым «третьим элементом», ненавистным правительству за революционерство, но и презренным для решительных революционеров за то, что избрали кочку «малых дел»: какие-то кредиты, погашенные или просроченные, какие-то товары, проданные или купленные без наживы, вскоре затем однако съеденные или изношенные, — разве могли рассматриваться как достойная альтернатива огромным всечеловеческим встряхам и перерождениям, мгновенному огненнокрылому спасению всего человечества сразу? И многие вожди общественного мнения, и пе-

редовые писатели тоже высмеивали увязчивость и бесперспективность скромного болотца «малых дел». Правда, были и такие старейшие революционеры, как Чайковский, кто верно учил, что интеллигенту нет другого доверчивого входа в деревню, как через мелкую кооперацию. И с упорством и мужеством устаивали земские интеллигенты между гонениями от правительства и презрением от передовой молодёжи, терпеливо гнулись и работали — чтобы в последние предвоенные годы со скромным торжеством дождаться уверенного роста и даже расцвета терпеливой своей деятельности, дождаться, чтоб увлечь сельчан. И часом награды для Зяблицкого было всегда — свои заветные мнения излагать вот таким развитым деревенским собеседникам, как эти. Плужников не остановился на кредитном товариществе, а зазывал в село зимами агрономических лекторов, а искал устроить прокатную станцию сельскохозяйственных машин и постоянный агрономический пункт. Вот в союзе с такими-то людьми, верил Зяблицкий, и можно преобразовать деревню, а значит и всю Россию.

— Но должен я возразить вам, Григорий Наумович, господа, что такие практические деятели, как вы, понимают кооперацию у́же её истинного значения. Кооперация — это не только торговый механизм, не только средство произвести экономию, получить выгоду. Кооперация — это широкое движение, определяемое идеалами человека. Она прежде всего — сила воспитательная. Выборный кооператор — это как бы первый маленький народный министр. Народ дал ему указания — и народ же спросит с него отчёта. Кооперация приучает массы отвоёвывать свои правовые интересы в условиях неправового государства. Это — самодеятельный путь к свободе.

И — с надеждой оборачивал гладковолосую голову к ширококостной плужниковской, с чёрным бородяным окладом. А тот:

— Всегда я за кооперацию, кто ж, как не я. Но всю мужицкую Россию кооперацией не вытянуть, не та лошадка.

Ах, огорчался Зяблицкий, когда и с этой стороны руку его отталкивали. И горячей:

— Кооперация должна выдвинуть собственную крестьянскую интеллигенцию. Она должна перерабатывать привычки и личности, продолжать усилия народной школы. Это мысль нашего основоположника Роберта Оуэна. Всякий общественный строй имеет выбор укрепиться и держаться или на лучших людях общества, или на отребьи. Так вот кооперация должна помочь первому исходу...

Странный взгляд был у этого Бруякина — как будто не перекорный, а и — не смотрящий. Не раз такой взгляд встречал Зяблицкий у мужиков и отчаивался: не проглядишь их и не проймешь. А Плужников поднахмурился:

— Так-то оно так. А всё ж по первому нужна нам кооперация — от города застою иметь. А городские через неё лезут нас воспитывать. А мы — сами по себе. Мы — сами воспитаемся, как нам надо.

— Так — именно сами! сами! — пальцы тонкие пять на пять сложив и голосом уговорным Зяблицкий. — И я же это... А пока — как же вы можете отказываться от городской помощи?

— П о м о щ и? — волковато поглядел Плужников. И Бруякину: — Да нешто сроду когда мы видали от города помощь? А не обдираловку одну? Город — не друг нам. Город — в р а г!

И Бруякин со своим неперекорным, несмотрящим взглядом опять же оказывался согласен.

Зяблицкий так испугался, даже всплеснулся, откинулся:

— Григорий Наумович, да умоляю вас! Как вы можете так противопоставлять? Да вы почитайте газеты, посмотрите думские прения, что́ говорят на съездах Земгора...

И тяжёл как будто Плужников, а взбросчив. Без рук, одними ногами кресло из-под себя отодвинул, встал:

— Не ждёт Мартын
Чужих полтин,
Стоит Мартын
За свой алтын!

Приходит крестьянству своё слово сказать. Читал я ваши думские прения! Нам ваши споры, как надо министров назначать, — невнятны. Ваша Дума еле слышна самым грамотным и только раздражает. Нам бы вот — земство волостное, да! Газеты ваши, Земгор — читаю! Пишут: *обуздать* надо деревню, забогатела деревня, — вот что пишут, сукины сыны! Сунуть деревне твёрдые цены пониже!

Его тёмно-карие глазины горели под чубом, плечи развернулись, а кулак — как молот.

И — пошёл по просторной горнице, сапогами лаковыми скрипя, брюки-галифе, витым шнуром туго опоясан по жаркой шёлковой рубахе с вышивкой. На поворотах ладен. От окна:

— Забогатела? Да, у всех — бумажки, в кредитное товарищество вклады несут охотно, а полежат эти деньги — что на них потом подымешь? Разве хозяйство на них потом восставишь? Забогатела? Полтора целковых за рожь? Два тридцать за пшеницу? А сапоги, — хлоп себя по голенищу, — до войны семь рублей стоили, а сейчас — четверть сотни? Стало быть, семнадцать пудов ржи?

Замкнутый Бруякин, согнувшись и сведя руки на коленях, сидел смирно.

А Плужников — от печи, от кафельной глади, с росту:

— Потому что город — совесть потерял! Или не имел её никогда. Кто первый начал? Город! Сахара кто не дал? Город! Тогда мы яйца придержали. Да хлеб в России — стал дешевле, он не в десять раз подорожал, как всё городское. Нас обдирают — и на нас же зубами лязгают?

Зяблицкий ворочался на стуле как на еже, вослед переходам Плужникова, упрашивая:

— Но Григорий Наумыч! Но нельзя же такие крайние выводы!.. Нельзя же говорить, что город деревне — враг!

Воротился Плужников к столу и кулаком легонечко пристукнул:

— Именно — враг! — И ваза призвенела. — Да вот вы, милый дружок, хороший человек, а приехали к нам тоже ведь насчёт хлебушка? — *запасы учесть?* Конечно, для земства, по-дружески, не для отобранья. А там губернатор приказ расклеит — отбирать, так вы и отбирать прикатите?

Зяблицкий взмолился:

— Да что вы, Григорий Наумыч, да что вы! Вы слишком ожесточились. Кто ж это осмелится — силою хлеб из амбаров отбирать?!

И правда, в голову даже невступно: кровнорощенный — и силой отымать? Да неужто мужики дадут?!

И этот хилой, нежный, шейка петушиная — ему ли хлеб у деревни отымать? Смешно.

И Плужников — ходом, уже от двери:

— А я скажу вам: армию мы, конечно, кормить согласны. А — город? да спекулянтов, да банки? — нет! не согласны! В русских городах ныне кого только не собралось — все западные губернии тут толкутся, ничего не робят — и всех корми, тамбовский мужик? Врёте! Вот поедете — передайте: хлеба мы так просто из рук не выпустим! Поимейте: мужик, что рогатина, как упрётся — так и стоит. Армии мы хлеб конечно дадим, а Петербургу — не дадим!!!

Тут вошла Агаша — во всём праздничном, как в церкви была, лишь передник накинув, тоже цветистый чистенький, и в тех же литых галошах новеньких поверх туфель. Несла она полотняную скатерть, на стол накрывать, но и с известием:

— Евпатий Гаврилыч, сынок за тобой пришёл, кличет, гости к вам приехали.

Ну, значит, идти. Да он тут всё и молчал, как и нет его. А — за всем услеживал.

А у бабы своё соображенье:

— Коля, Коля, а поди-ка сюда! — позвала паренька из сеней.

Вошёл, стесняясь, 14-летний Коля, тёмно-русая голова вся в дыбистых завитках, для своего возраста крупен.

— Во кавалер хорош, и непричёсанный! — объявила Агаша. — А знаешь ты, Евпатий Гаврилыч, что он у тебя уже со взрослыми бабами спознался?

И Коля сразу залился краской, выдавая правду.

— Гляди, — одобрила Агаша, — всё же к стыду чулый.

А Евпатий посмотрел смышлёным быстрым взглядом на него, на неё, сказал только:

— Да ну?

Как и не доверяя. Но и не к спору.

Коля пылал, не отходил.

— А ты не доведомлен? — как обрадовалась Агаша, для баб слаще нет игры. — А пусть он тебе сам расскажет. Видели люди, как ходит.

— Ну, это исправить можно, — усмехнулся Бруякин. — К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом.

Пошли.

Ну, бабы язвы! — напугался, рассердился Коля. И всё доглядят, подсмотрят, и на всё языки отточены. Уж так таились — как просочилось? Аж захолонул он, ждал, как отец сейчас обрушится, и уж не знал — отвираться или признаваться. Да хоть бы матке не говорил. Матка у Коли не родная, но лучше родной. Стыдно.

Но вышли — отец ни слова. Очень Коля удивился. Шли рядом, нога к ноге, — и ни слова. Или дома всё грянет? и правда дубцом? Ещё хуже. Теперь-то, после Маруси-солдатки, Коля Сатич переходил как бы во взрослые мужчины. Но против отца и против дубца — всё ещё был бессилен.

А отец — молчал, вот диво. Пронозистей того, что Агаша открыла, — и быть не может. А отец — не распахивал гнева.

У отца — своя думка была. Он ещё переверял своё решение — кончать торговлю. Это был — крушной поворот всей жизни, как бы измена и отцу, и себе, перебив родового дела. И ничто не показывало явно, что надо кончать: нестача товаров, того-другого? — наладится, как война кончится. Но какое-то внутреннее сжатие предупреждало Бруякина о неведомой тревоге, и даже так маячило, что ещё успеет ли он свернуться? Свернуться тоже нужен год, и два. А какие-то лучшие товары, не знающие порчи, оставить в запас на разживу, до доброго времени. Припрятать поглубже. И разговор с Плужниковым и даже с этим приезжим только убеждал его, неведомым образом, что жизнь — вся будет меняться, и прежняя вольная торговля кончилась.

А про мальчишку — да, это новость была ему, не знал. В четырнадцать лет? — рано. Но впрочем, узнавал в младшем сыне свою кровь (старший не таков, а отец, Гаврила, тоже был пристрастен, чинил бабам прялки, оттачивал веретёна — редко за деньги, а больше по любви). Имя Евпатий — и значило «чувствительный». Он и сам близ этого возраста стал шарить по бабам. И с той поры по последнюю — не переставал их любить, и при первой жене, и при второй, любил дарить им тайком красного товару, и не зря, любил свадьбы, ярмарочные балы, подпаивать женщин, сам спиртного ни капли не пил, и шутить с ними, пьяненькими. А Колька в четырнадцать? Здорово. Ну пусть, скорей мужиком станет, скорей и помощником, хотя уже и с десяти он боронил, жал, косил.

А Колька шёл, не чуя земли под подошвами — но и смелея: молчал отец!

Марусе-смуглянке двадцать два года, сама она с тамбовского Порохового, а вышла замуж в Каменку. От мужа её год были вести с войны, потом не стало. Знать, томилась, как все солдатки. И — сама наметила мальчика, и через подругу и подругиного парня — сама позвала. Могла ведь и старшего парня выбрать — а захотела его. И так впервые Коля Сатич опознался, что чем-то он особенный. Знать-то всё он знал с семи лет, с девочками играли в женитьбы, но только от Маруси — впервые отведал! Избёнка её была на краю села, к Савале, — и туда он пробирался к ней скрытно, выколачиваясь сердцем, — и полностью отдавался в её страстную власть. Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без устали теребила, и всячески наслаждалась. Глаза её горели угольками, губы — кирпичного цвета, а в щеках — багровый румянец. Отесала мальчика и научила адским шалостям.

И стал Коля Сатич чувствовать себя взрослым. И хотя никто в селе не знал, вот первый раз прорвалось от Агаши, — а заметил он, что как будто и девки в нём что-то почуяли, — и он тоже теперь их как насквозь видел, и иначе себя с ними вёл, ласково. Замутилась его голова, и захотелось ему лихой, заблудной дороги. Как сказала ему Маруся, смеясь рассыпчато: «Ах, Коленька, это первое счастье, коли в глазах стыда нет. У тебя — тоже.» Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки.

И первое, чего он теперь добивался, — прильнуть к озорной компании парней, старше его на два и на четыре года, была такая, — во главе их Мишка Руль, первый дикий озорник, драчун и герой. Отец Руля пытался ещё драть его, но Мишка отбился: «Если ещё наскочишь — зарежу.» Чтобы войти в эту компанию, Коля уже воровал из отцовской лавки — папиросы ребятам, а другой товар менял на самогон и ставил парням бутылки. И с завистью и подобострастием слушал об их озорствах, уже учинённых или готовимых. Руль шутил надо всеми, кто ему замечал, или грозил укоротить. А теперь они издумывали, как бы разыграть, развередить попа. Разинув рот, слушали парни рассказы Руля о его похождениях:

— А не помните, как у Мохея Лихванцева племенной жеребец срывался? А никто не знает, ведь это я. А зачем? А он много уставлять хотел по селу порядка, и решил я ему отомстить на его Липушке, а заодно и с Липушкой погреться.

Парни только ахали дерзости замысла: да как же всё умудрить?

— Подметил я, как они с Липой в баню пошли, уже смеркалось, покрался к нему во двор и жеребца на волю выпустил. А потом через дом стучу и его племяшке, Лушке: беги к дяде в баню, его жеребец в луга сорвался! А сам из-за кустов вблизи смотрю: оделся Мокей, побёг жеребца искать, ну это на два часа верных. Не торопясь вхожу в ихний предбанник, раздеваюсь, — Липушка за дверью плещется, думает, муж вернулся. Вхожу: «Это я, Руль, не бойся.» Плошка горит, увидела — ахнула, и на полок от меня карабкается: «Убирайся! я тебя кипятком оболью!» Я ей грожу: «Если плеснёшь — я твою голову сейчас в котёл суну, там и останешься!» — «Убирайся! Мокею скажу!» — «Когда уйду — говори. А пока — слезай сюда, Липушка, на пол.» — «Я тебя расцарапаю!» — «Да я тебя тогда раздеру!» И тащу её с полки, а мягкая, братцы! вот бабы мягкие бывают. Отбивается. «Если будешь барахтаться — я сам Мокею скажу, что это ты подговорила меня жеребца выпустить!» — «Ай, — стонет, — беда мне, пропала я, что ты наделал, изверг? Ну, грех — на тебе.» — «На мне, говорю, на мне.» И — распустилась, подалась.

Парни только завывали: ну, молодец! Ну, и нам бы так!

Колька изнывал от зависти, от лихости, от ревности.

А Руль поучал:

— Вот так, ребята, когда женитесь — своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится. Не стойкие они. И ведь — не сказала Мокею, нет.

46

В шитой рубахе и пузырчатых брюках, как офицерские, встретил Плужников Благодарёвых на переднем крыльце, пожал руку ещё раз отцу, ещё раз сыну, повёл в долгие сени. Тут они раздевались перед дверью в горницу, и сюда ж из избяной двери вышла им поклониться — Агафья бы Анастасьевна, коли б не попросту Агаша, не многим-то старше Катёны, на одни поседки с ней ходили. За ней и детишки из избы выглёдывали. Но хозяин приглашал гостей в горницу.

Там знакомили с приезжим гостем, городским, ручку мягкую бережно подавал:

— Анатоль Сергеич...

Благодарёвы пока на диван, Плужников к им кресло развернул, сел нога за ногу, и городской сел. А Агаша другою дверью, прямо из избы, носила на стол: забрякала блескавыми ложками, высыпала вилок с костяными чёрно-белыми ручками, городских ножей с посверком, расставила поставки тяжёлые глазированные, стакашки да рюмки, несла кувшины, графины и на вытянутом блюде залóм, и кажись заливную стерлядь, и другое холодное, и помидорное, и грибы всех видов, сыр самоделковый, — как на дюжину человек. И уж кажется — едено, едено эти дни, некуда больше и толкать, а глаз между разговором всё замечает сам, и легчает беседа, распокладывает к хозяину.

Агаша — в праздничном голубом сарафане-суконнике с белыми тонкими рубашечными рукавами врасфуфыр. Туга, крепка, и в руках не перетончена. Ходит с подносами полными — спины не скривит, и не склонит головы с толстыми соломенными косами, закрученными вкруг лба, быстро ходит — а не спешит-семенит, быстро ходит — а в галошиках неслышно.

Плужников — приветливо и в открытую: де, таких молодцов, как Арсений, побольше бы нам в Каменку, война не бесконечная, а вот окончится — и все головы, и все руки, и весь тот нагляд, что в дальних странах добывается, — нам пригодится тут. Что, мол, после войны не прежняя жизнь и не по-старому пойдёт, а как после смертной болезни сдюжавший человек весь наскрозь новеет, и многое ему по-новому видится и по-новому он делает, — так и нам достанется.

Зорко смотрел на него Благодарёв-старший, такая у него поглядка зоркая, из-под пшеничных бровей, сроду: что на Байкале видел далёкий парус, что в поле за сто саженей мышь, а в комнате от избытка зрения прищуривался, чтоб лишнего не видеть. Или проглядывая, тó ли человек думает, что говорит.

То. Основательно обмыслял Плужников жизнь, не только какую работу с утра зачинать. Думал он — за мір.

А — война как? — порасспросить хотел он Арсения. Деловито: с оружием как? со снарядами? правда ль, что теперь хватает всего? А — людей? Роты, батареи — полны ли?

Да переполнёхоньки. В пехотных окопах дюже и дюже толкаются, одной миной пятерых накрывает. Но, правда, нашего русского люда сильно повыбило, гонят на замен инородцев, иноверцев.

А что солдаты *думают*? О чём меж собой говорят?

О чём же говорят? Наши беседы и пересказывать ни к ляду: кто где давеча был при обстреле, при газах, как кого цапануло; да про бабу

свою — не сбалует ли; да про хозяйство — как его там тянут без работников; да как лошадей немцы куют не по-нашенски; да как белорусы...

Правильно. Ну, а — обо *всей* войне? о мире? Есть ли мочь довоевать до концу?

Да вот, немцы в штабах одолеют. Каб измены у нас не было...

А — есть ли она?

Да так, природно рассудить, так может и нету. А больно уж обидно, ежели есть. Вот и на Гришку клепают.

На Гришку оба Благодарёва сердиты: ведь из мужиков, как же он-то? Вот так на нашего брата надейся. Пусти мужика наверх — захленётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добраться, саму, может, и царицу покрыл, — и за мужика не заступиться? Тут тебе твёрдые цены суют, тут гвоздя не достанешь, не то что косы, — а он там пирует-разливается?

— Да это всё бабий вздор, — отмахивался Плужников. Он до корня искал. Гришка-то Гришкой, но не согласен Григорий Наумович, что на мужика надёжи нет. Только на мужика! именно на него! Мужиков — только мужики сами и выручат, сами себя! — и пора к тому просыпаться.

В том месяце, в ноябре, какой-то, вишь, *съезд сельских хозяев* будет в Петербурге, так может хоть там какой прояснится толк.

А Григорий Наумыча туда не зовут?

— Да вот не знаю, жду. Из Тамбова билет сулили, пришлют ли.

Ну, и к столу! Каждому своя сторона, Арсений — супротив Плужникова, отец — супротив того гостёчка. Манер городской: перед каждым тарелка и большая, и малая, а ложки в яства на блюдах встромлены, значит смекай, где берег, где край, не черпай сразу к роту, а перегрузку делай на свою тарелку (то ж на то, лишь размазывать да студить), из отложенного ешь, а на новый раз приглашения жди — мол, берите, пожалуйста, что ж вы смотрите? Этот манер господский Арсений видал у офицеров, знал, а вот батька бы маху не дал. А ничего, батька как по льду пошёл: лишнего не подвинется, осторожкою, а глазами наперёд глядь, глядь. Однако забота как верёвками рот и голову вяжет.

А хозяин в руки — большой кувшин с сурёнкою, и полил, полил по поставкам — густую, коричневую, маслянистую брагу, и пошла брага в пену, только подхватывай.

— Ну, для почину выпить по чину. Агаша, ступай сюда! За нашего воина георгиевского! Чтобы славно довоёвывал да целый возвращался — к деткам, к жене, к родителям и к нам ко всем. Много повыбило — а молодцы нам нужны!

Поставки глухо устукиваются, по-гончарному. Не хлебная брага, медовая. Не пожалела Агаша трудов, за много дней готовила. Обопьёшься. И крепость ни-ча-во.

Агаша так и не присела — стоя выпила с сидящими мужиками и — поклонилась Арсению. Как старшему... А ведь равно гуляли когда-то. Во как война поворачивает.

Пошла-а брага по крови. И сил избыток, и почёта избыток, а куда эти руки, куда головы — сам Арсений ещё не понимает. Ну, куда-то-сь приснадобятся.

А городской гость, к столу-то сел, не перекрестясь, теперь на Благодарёвых смотрел через очки светленько и, перемежая с пустым ртом для речи, скусно так спрашивал:

— А как, господа, вы относитесь к кооперации?

Арсений помалкивал. Наворотили, наворотили на его молодой памяти — кооперация, мобилизация, тилигенция, революция, реквизиция, — только успевай продираться, как в еловом подсаде.

А отец — лучше тут натёртый, сразу и взялся:

— Да как? Гвозди до войны — два рубля за пуд, а теперь сорок? Ни бороны, ни плуга не починить, даже подковать нечем. Ось подмазать — нечем. А уж лобогрейку или веялку ни за какую цену не достать.

Приезжий выглядает как ребёнок, ещё не битый, не тасканный, одного добра от жизни ждёт.

А Агаша сновала тихо — в избу к пече и назад, ещё стол подснарядить, инде на ходу приговорит кушать, а так чтобы мужскому разговору не мешать. А тут про цены услышала — и сорвалась, на городского, как он единый виноват:

— А сахар — полтора целковых за фунт, такое видано? Аршин ситца стоил 12 копеек, а щас 90! То и обидно, что городские вертят призвол цены, где-й-то там товары прячут.

Горяча Агашка. То мужней брови не пропустит движенья, то схватилась, её только выпусти, так и режет.

Посмеивается Плужников, как будто нравно ему. Чёрную бороду положил на крепкий свод рук и загудел, объясняя Арсению:

— Кооперация — это товарищество. И — кредитное, как у нас. И ссудо-сберегательное.

— Так-к... артель стало быть? — уяснял Арсений. Много сразу зацепить — быстро хорошо не бывает.

Городской — зубки белые кажет, и ещё сладчей и довольней, как бы и строгий взор Благодарёва-отца умягчить, да и сына вниманием не обходя:

— Артель, да, только — уездная, губернская, даже всероссийская.

Григорий Наумович — попроще:

— Будь бы у нас сейчас сильная единая кооперация — знали бы мы, где закупить дёшево, хоть и в Нижнем, хоть и в Москве. И спекулянтам делать бы нечего. А каким товаром обменялись бы и артель с артелью, наша, Понзари, Пановы Кусты. Артель может и военному ведомству прямо от себя поставлять — и уполномоченному тоже-ть-бы делать нечего. Артель может и запасы по своей местности учесть, чего уполномоченные никогда не добьются.

На *уполномоченных* отозвался Елисей Никифорович едва не стоном:

— В энту зиму скот забирали — так в самый тёл. И по глыбкому снегу отгоняли. И телился скот по дорогам. Зарезáли. А соли не достало — и в оттепель туши погибли.

И с кем бы то говорить? противу кого спорить? С Плужниковым они выказывались не врозь, а зуёк этот несмышлёный — вовсе и не зарьялый, кусочками малыми всё режа да режа, ест, устёбывает, — по городам-то, грит, не разгуляешься. С него очки, сорочку крахмальную снять, обстричь по-нашему, по-деревенски, так и не мужик станет, а — парень хилой. И — не купец он городской, своего товару фабричного не готовляет, он кубыть с задушевностью сюда пришёл. Однако не за хлебцем ли заглёдывает?

Спорить нéпротив кого, а занялся Елисей Никифорович на разговор всем сердцем. Из груди так и выносило, и Елисей смотрел грозно, остро, глазами слишком дальними для горницы, смотрел на городского вольными дальними глазами, поймёт ли:

— А начаё ж мы хлеб должны задаром отдавать? Болтуны городские ошатели, без ума уставили цены эти твёрдые, а мы — хлебушек отдай? Что деревня городу отдаёт — на то такса, а обратной таксы почему нет? Ежли скажете — война, и давайте нуметь по-братски, — а и что ж? Мы, мужики, не противляемся по-братски: берите хлеб хоть и весь без денег, но и нам же товары без денег дайте! Как покупали мы раньше: пуд железа за два пуда хлеба, косу за пуд хлеба, — так и дайте! Твёрдые-не твёрдые, лишь бы нам спинушку гнуть не впу-

стую! Крестьяне своё тягло потянут, пока ноги переступают. А этак ведь — печёнки отбиваются!

Отвык Арсений ото всяких этих цен, что почём — у него соображения не стало, из памяти вынесло: в армии всё достаётся бесплатно, и на побывке всё бесплатно. Что тут говорилось ими тремя, даже отцом родным, — сто всего он отбился. И туло его, и голова — там, на позиции, ещё сюда не вернулись, тут он — гость перекатный. Сидел да помалкивал, ел-наворачивал да молчал. А у мужиков-то надсажено.

А Агаша тихо сновала по гладкому, крепко сбитому полу, не пристукнув, не пришлёпнув, ещё поднесла пирог горячий с капустой и с яйцами, подкладывала, уносила опорожнённое, почти слова от неё больше не слышали.

А Плужников подливал кому браги, кому наливки, настойки, вот они стоят. Глазами меть на одного, меть на другого: так! так! А Елисей понёс как в гору рысак, грудь поднапрягши:

— Какие это деньга́ — бумажки в руках? Это — не богатства! Наши богатства — когда хлеб в амбаре, скот в хлеву и поля засеяны. А то вот весна накатит — обсеемся ли? Коли, не дай Бог, до весны в армию ещё призывать мужиков станут — так работать кому?

Городской до того разгорячился, есть-пить покинул, в пирожной корке вертит вилкою как сверлом, возражать желает.

А Агаша, как ходила без звуку, так теперь, не звукнув, стул приставила на тот бок, где сидит городской, места много он не занимает, — через угол от мужа, по правую руку его. И села достойно. Стакашек пригубила. И слушала.

И Плужников как раньше бровью не нахмурился ни на одно её движение, ни знаком её не осек, так и теперь присесту её не подивился: не проронила своего дела смышлёная баба — сиди и в мужской беседе. Своя жена — своя краса.

Поглядывал Арсений — и себе учился.

Когда Агашке было не боле восемнадцати, а уж тогда была фигурна и справна, — выцелил, выхватил её Плужников, незадолго возвороченный из Олонецкой губернии, прежде того овдовевший. Так что женился он лишь малость поране Сеньки, а превышал Агашу годков боле, чем на двадцать, и старшая дочка Плужникова от первой жены вышла замуж прежде Агаши. А сидели супруги вот рядом, и ростом под рост, и по всей одёржке, по всей осанке—не дочка ему, а полная жена, хоть на подпору, хоть и на замену. Плужников был мужик до того ядрёный и подхватистый — отчего ему с молодой женой не жить? — не сробеет. А каково на дому — таково самому.

Городской, может сам и неповинный, свой кусок пирога вовсе развертел, развалил, и вилку покинул:

— Нет, скажите вы мне, Григорий Наумыч, как же вы это представляете, что Петербургу хлеба не дадите? И почему именно Петербургу?

Агаша ему поросятинки, хренок подвинула.

Плужников подлил ему. И полегчил:

— Да это, конечно, только говорится — хлеба не дадим. Пока крестьянин всё на войну отдаёт, Анатоль Сергеич, сами знаете: Тамбовская губерния всегда вывозила с десятины по пятнадцать пудов, а сейчас — по двадцать пять, и кооперативы в этом помогли немало. А скота по нашему уезду взяли тридцать тысяч голов. Из четырёх голов брали пару, не разбирали, племенной или молочный. Это у нас не различали, а у помещиков племенной не трогают вовсе.

У городского — уже не такой горевой выгляд:

— Но это ж и правильно: лучшие экземпляры, лучшие породы...

— Правильно как будто. А вот пишут газеты: в нашем уезде граф Орлов-Давыдов, ещё и член вашей Государственной Думы...

— Нашей, Григорий Наумыч, — жалобно гость упрашивает, — нашей с вами вместе...

— ...схоронил 240 голов скота, теперь открыли — и привлекли управляющего. Будто — граф не знал. Нет, уж если «всё для войны», так и давайте со всех, а что ж — с мужика да с мужика? Привыкли к нашему терпению.

Город! В городе, вот ездил Плужников, несодавна воротился, — молодых ещё сколько, толпа праздная! Заведующих, особо-уполномоченных — внатруску, и все от воинской повинности польгочены. Разве крестьяне слепые, не видят? И все эти рты безнадобные кормят. По базарам военнопленные тягаются — вереницами, вот бы в поле поработали славно! Так помещикам ещё присылают их в помощь, а нам разве когда? — редким бабам одиноким, у кого пятеро детей. Да в трактире, вон, бегает один. И в городе за работу деньги шальные стали платить, чернорабочий — пятёрку в день выколачивает, так стали и наши девки в город ухлёстывать. Всякий легче желает...

И опять Елисей:

— Скот, лошадей сдаём, упряжь, повозки — и всё ниже цены. И на нас подводную повинность кладут опять. Нет, неравно разложено. Деревню облупают, а в город тащат.

И Плужников опять:

— Дума ваша не кололась бы на левых да на правых, не искали б, как друг друга шпынять да переголосовать, а каждый депутат — будь себе от своей одной местности, и как твоя местность велит, какую нужду ты своими глазами видал — вот ту и говори. А на партии разделяться, да всё для своей партии тянуть — это только Россию разделять, людей морочить.

Во-как? А сам-то раньше не в е-серах был? В одном перье всю жизнь не переходишь. Елисей наслушался, да и от себя:

— Дума должна царю помогать. А царь жизнь устраивает.

И ещё Плужников:

— От такой Думы мы, мужики, правды не дождёмся. Да и вообще от Города правды не дождёмся.

Загоревал-загоревал, просто поник Зяблицкий. Загоревал, будто жена у него сбежала. Голову свесил, рукою подпёр, как бы очки не свалились. А может схмелел: брага-то наша крепкая, а в городе сей день не разопьёшься.

— А где же — ваша правда? — тонко так.

Плужников, костью широкий, а и мяса не мало, и пил, как не пил ни глотка, трезво и твёрдо глядит, глазища сочные, борода смоляная — однако и не цыган, много таких танбовских.

— Вот именно: где ж наша мужицкая правда?? Немало я об том думал. Волость наша? — она не наша. Волостной старшина — не вожак наш, а только знает приказы исполнять — урядника, станового, исправника. С него да с волостного правления начальство лишь требует да требует. Об том и писарские перья скрипят, за что им платят, кстати, грош. И куда ж наши волостные и земские сборы ухают? И на волостные сходы сгоняют нас не для нашего какого кровного дела, а — для ихнего, нам подчас и неухватного. Не допущены мы ни до какого распоряжения. Стоим да переминаемся, не так ли, Елисей Никифорыч?

— Так, так, — остро глядел, одобрял Благодарёв-старший.

А может Плужников к этому съезду сельских хозяев думы свои просвежал:

— Земство? Так разве ж это наше земство, если наши выборные — только кандидаты, на милостивый отбор земского начальника. Да на ту же команду во время войны и земство потянуло. Что они нам из уезда шлют? — только наряды: на скот, на лошадей, на подводы. И вы вот, Анатоль Сергеич, вам не в укор, вы хороший человек и к нам сочувственны, я знаю — сроду вы хлебом не занимались, а разогнали вас всех на хлеб, запасы учитывать, так?..

У городского гостя очёчки вот спадут, смотреть не может.

— А земства волостного, чтоб не господа, а сами мы сбирались да решали, как вот в кредитном обществе, как в кооперации, — такого нам не дозволят. А дозволят — так вывернут навродь волостного правления, не вольней.

— Всю жисть воли нет! — только махнул рукой Елисей.

Как вывалил из груди за всю-то, всю-то жизнь — вот это малое слово.

Пережда́л Плужников, глазами обводя. Агаша вмиг подхватилась: может, надо что? упустила?

Нет. Легонько ласково руку на руку ей положил на миг.

Так и взялась Агаша румянцем, открытой мужней лаской горда. И головой подвозвысилась, а и хочет показать, что ни в чём не бывало.

— Община? — отряхнулся Плужников бычьей головой. — Так и полста лет её ладили, поворачивали, нет. Не та телега, чтоб от ноне да ещё на тысячу вёрст. Спасибо, Столыпин вызволил. Так — враз его убили. Кто? За что? Поди найди, там их целая сплотка, видать, была. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешёвой силы — вот и убили. А царя Освободителя кто убил? Крестьяне никак не могли. А помещики — опять же даровой силы лишил, да менять своих рабов на гончих. Вот так, и город нам враг, и помещик нам враг.

И Елисей — со строгой вескостью:

— Благую царёву волю — извращают. Не исполняют.

Не гоголем Плужников, подпёр тяжкую голову обеими руками:

— Падает духом деревня. Мужиков наших на фронте бьют да бьют. Забивают нас мобилизации, реквизиции, твёрдые цены. Город там — свои съезды устраивает, совещания, комитеты, партии, — а у деревни ничего такого нет. И кто ж о нас подумает? Анатоль Сергеич вот, с друзьями? Не обижайтесь, Анатоль Сергеич, только сил у вас — гораздо немного, чтобы нас потянуть.

— Так ведь вот, так ведь вот, Григорий Наумович, господа, — Зяблицкий кживу ворачивался, и в улыбке поправился, и на каждого, и на каждого смотрел, как в гости приглашал, и на Арсения, даже и на Агашу: — Так ведь мы уже с вами достигли согласия, как много поможет вашей жизни кооперация.

— Да эт не то, — отвёл Плужников. — От кооперации мы не отказываемся, зачем же? Ещё будем после войны артелью дорогие машины покупать, не избежать, серпом да цепом дальше не обойдёшься. После войны рабочие руки уже никогда не будут так свободны, как прежде.

Вот эт Елисею Благодарёву не так в голову ложится: почему уж после войны круто всё переменится? Помним войны — не менялось.

— От турецкой, конечно, не менялось. А уж от японской — ой переменилось, разве деревню за десять лет узнать? Сколько земли докупили? Сколько настроились? Оделись как?

Оно верно.

— А после этой войны — ещё круче повернётся. Такой войны Россия сколько стояла — не вела. Я ж говорю: как от смертной болезни встанет государство другим. И нам — смышлять надо, и к тому готовиться.

И — на Арсения устависто поглядел.

Да в том — Арсений себя лишним не чувствовал. Ноги от хмеля отеплели, ослабели, а при руках — силушка вся. На что-й-то и я тут пригожусь, надоть учиться слушать да понимать.

Плужников выпрямился в стуле, дёрнул рубаху ко спине под жгутовым поясом. Был он на столько же моложе Благодарёва-отца, на сколько старше сына, как раз посереди, что говорится — середовой мужик: и ума от жизни уже набрался, и сил ещё не теривал.

— А что такое есть наше крестьянское сословие? Как его содержат? Чуть кто возвысится через образование или служебную выслугу —

переводится в личного почётного гражданина, но и — потерял право на надел, и из крестьянства ушёл. Каждого, кто чего добьётся, — мы теряем. А кто лишён прав состояния и по отбытии уголовного наказания — того включают к нам. Чтобы получалось из нас — быдло. И мы несём повинности, на других не разложенные. И подчиняемся особым отдельным властям. Через земских начальников — опять же дворянам. — И подбоченился, крепок, да взятист, да умён. — Волю ту, говорят, нам пятьдесят лет назад дали, — а что ж мы её не берём??

Вдруг Елисей пробаснул, прокашлянулся, как и сын никогда не слышал:

— Брал. Не далась.

Когда ж эт ты, батя, я не знаю?..

Вживе на него Плужников метнул:

— И надо — брать. Как денег никому насильно в руки не сучат — так и воли. Была бы честь предложена. Подмоги нам не подступит. Ни от Петербурга, ни от Москвы. Ни от города, ни от помещика. Ни от эсеров. Потому что эсеры, как к мужику ни подлаживайся, а мысли у них не мужицкие, только в тон поют. А мы? А мы всё дремлем, ждём распоряжений от начальства. А они нам — бумаги да бумаги шлют. И никто не крикнет: Э-э-эй, Россия! — взял Плужников голосину, в горнице не поместилось, а стены бы не держи, так и до Князева леса, — берись сама-а-а!!

У Агаши губы раскрылись, зубы жемчужные, загляделась на мужа.

Зяблицкий сперва откинулся даже, испугаешься этакого рёву. Но Плужников — ничего дале. И Зяблицкий набрался перёку:

— Оч-чень, оч-чень вы меня огорчили сегодня, Григорий Наумович. Дума вам не нравится. Земгор не нравится. И партии. И кооперация слаба. Критиковать всегда легко. А что вы можете предложить положительного?

Плужников голосом больше не баловал. Руки в боки, пальцы за поясом, сказал:

— Ясно одно: чиновники, начальники, город, рабочие — пусть себе сами, как хотят. Равноправия мы ихнего не ищем, не спрашиваем, и они нас тоже пускай покинут...

Эх, бабья доля! — и вникнуть охота, и на столе замерло: отъедено, отпито, дальше не идёт, надо на чай менять. Поднялась, смекнула, что схватить, унесла.

— ...А вот по округе нашей кто живёт — те и возьмём в руки свои. И будем сами по себе. Волость? — сама управится. Уезд? — без города уездного, сам! И даже по губернии, без городов, — отчего б не иметь крестьянскую власть? Жить по себе, а город как хочет, мы не мешаемся. Почему ж не сами собой мы должны управлять, а кто-то нами? Кому власть и рассуждение? Кому хошь, только не крестьянам. Что ж мы — пеньки лесные вовсе? Грибы в деревне растут, а их и в городе знают!

Очами сочными лучил.

Эх, леший бы тя облобачил, во как задумал! — и наш деревенский.

А Елисей Никифорович зорко, строго смотрел, а не рассиялся. Прямо, ровно в стуле сидел — и ни слова.

А Зяблицкий повеселел, и ручкой маленькой замахал, и так это завыстилал, довольный:

— Вот у вас и типичная крестьянская утопия! Ей — пятьсот лет, и нигде никогда, ни в Европе, ни в Азии, она не осуществилась. Ну, подумайте сами, Григорий Наумович, — как это вы мыслите себе организационно? В рамках современного государства, при единстве государственных задач, хотя б вот войны с внешними врагами, при единой экономике, административной и транспортной системе, — какая может быть отдельная крестьянская власть? У-топия, вы понимаете?

— Какая — это пока неведомо, — отряхнул головой Плужников, жалости не принимая. — Какая — думать надо. Такой большой стране — многостройство нужно. Средь того многостройства уместится и крестьянское самоуправление.

Вот в это упёрся. И — верно. Что ж мы, пеньки?.. Это Арсений понимал чутко. Из того что-то будет, гле-ко-сь пробьётся?

Но отец никак не радовался. Поглядел на хозяина хмуровато. А тот ещё:

— Да мы и теперь не обезлюдели, у нас ещё сил и о такую войну — сколько у нас ещё мужиков с головой и руками? — хоть сейчас на руссуд, на совет собирай! Крыжников Парамон. Фролагин Аксён. Да Кузьма Ополовников. Да Мокей Лихванцев. А, Елисей Никифорович?

Арсений уж заметил по батьке, что ему — не в лад, не так. Но ни выскочить, ни дёрнуться отец никогда не спешил. И — степенно, головою стойкой не крутя:

— Средь нашего брата тоже дураков не мало. Среди господ есть — так и средь нас? А когда в Девятьсот Пятом году помещиков грабили, — ведь и по двадцать десятин сверх надела кто имел — и всё равно грабили. У Давыдова и щас, кому не совестно, самоволкою берут дрова, сено. На его лугах скот пасём. Он не ограждается — так мы и на голову? Нашему брату волю дай — ого-го-го-о!..

И ещё подумав, и Плужников не успел отозваться, Елисей присудил гулковато:

— Зашаталась вера у людей, вот что. Управлением не поправишь.

А гостёк городской до своего добирается:

— Ну хорошо, допустим, формы будут найдены. А какими *путями* вы предполагали бы это достичь?

Плужников, всё руки в боки:

— Путями? Да бомбы под губернаторов подкладывать не будем. Нет. Путями? Кому это открыто вперёд, тот выше людей. А как-то оно, смотришь, и само повернётся, только тогда момент не упускать.

А Агаша тем временем уже и самовар принесла, и плюшки сдобные и хворосты, и разливала по стаканам наваристый тёмный чай.

А Зяблицкий всё веселел:

— На таких надеждах нельзя строить реальных расчётов. Путей реальных — вы не имеете, Григорий Наумыч. И я рад, что это — не бомбы. И обернитесь вы к первому пути — живой кооперативной деятельности, в самом расширительном смысле!

Кстати было чайку попить, рыбку да убоинку залить, и сахар стоял на столе, колотый крепкий рафинад, и печево всякое. Но постучали с крыльца.

Сходила Агаша, воротилась и вполголоса:

— Панюшкин, писарь. К тебе.

Замялся Плужников. Выйти?

— Ну что ж, зови.

Вошёл Семён Панюшкин — без верхнего, в плисовом коротком пиджачке, чистый, подобранный, как всегда. До волостного писаря своими стараньями, ничьими, за много лет поднялся: летом — скотину пас, зимой учился. За разумливость — возвышен.

А ростом и телом — с Зяблицкого. Волосы — примажены, приглажены, скромен, начальника из себя не дмит. Поклонился. С праздничком. Его — к столу. Замялся. Видать, хотел с Григорием Наумовичем наособицу.

— А что, секрет? — готов был Плужников и в избу перейти.

Вздохнул писарь, хранитель тайн, первый их сообщник.

— Да нет, какой уж. Всё равно объявлять. Но вам — хотел первому.

Никакой Плужников не начальник. Но — *батька.* И пришёл писарь ему доложить первому. По уважению.

Усадили его, чаю ему внакладку, плюшку слоистую.

Долго не тянул, открыл — из внутреннего кармана бумагу вынул. Только что привезли.

Указом от 23 октября объявляется призыв ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва — завтра, 25 октября.

Во-о-о ка-ак!.. Да круто ка-ак!

Сегодня-то уже день к концу, выгулянный. Ещё час-другой, и опустится на деревню тьма спасённая. И хоть заголосят по избам, и долго не будут гасить, кто керосиновую лампу, кто слепушок, кто жирник, — а до утра уже никого не тронут, до утра — ещё не загружать черезплечные белые сумки с продуктами, не запрягать — с провожатыми бабами в Сампур, к воинскому начальнику. Ночь — наша. Ещё одну ночку горевую с жёнкой переспать. Да ей — не спать, ей — ту сумку шить. Ночь — наша, однако печь растевать? Да нет, у всех напечено.

Вот как она входит, война, — клином железным и прямо в грудь. Третий год идёт — и как-то уже вместилась в жизнь, вроде и устоялась. Кого убили — те убиты и уже схоронены. Вот вроде и праздники гуляли, прибасни, гармонь, — а развернётся бумага из писарского кармана — да на всю улицу!

Вот уж и начала свой развёрт, у Плужникова на столе.

К о г о же?

По сорок лет отшибают, самый сок мужичий. С сорока одного пока не трогают.

Стал Плужников прочитывать имена. Какие быстрей, какие обмышляя. Написаны-то были имя-отчество-фамилия да год, а вокруг проступало: кто ж у него в семье останется? сколько детей? да как с хозяйством?

Чисто брил воинский начальник — мельника забирал! Мельника, вот тебе. А кто ж его заменит? Что же, жернова останавливать? Ведь это наука.

Афоньку Пинюгая берут. Для Каменки не так потеря велика, а всё же: тресту конопельную ему сдавали, и заботы нет — верёвки он тростит, а там разочтёмся. А теперь — каждому самому? Не займёшься.

Па-шёл и Нисифор Стремоух! Не усидел.

А Шныру? Кубыть возраста они одного. И Шныру берут, да.

А Дербу? Дербу — нет, перед ним год обрезан.

Но вот что — кузнеца берут! Кузьму Ополовникова!!

— Да что! — из Елисея вырвалось как огнём. — Ума у них нет?

— По возрасту.

— Дык не один же возраст соразмеривать, кошки в дубошки! Плуги-ти кто ж нам направит? Коней ковать — кто? Что ж нам, всем селом? Думают они?

До того эта дурость вздербила Елисея — встал. И заходил по горнице. Ну, что вот делать? Отдавать Кузьму Ополовникова — кажется, как сына родного. (Да он и родня был, Домахе троюродный.)

— Сенька! — закричал, кубыть тот виноватый. — Ты ж говорил, у вас народу полно?

— Да плечо о плечо в окопах сидят.

— И кузнецы?

— И кузнецов в бригаде хватает. Можем одного вам.

Их с Катёною кровать, спинки во многих завитках изощрённых, тем Кузьмою и кована, не покупная, как вот у Плужниковых, хоть и вшестером ложись и хоть медведь пляши. Этот Кузьма, по прозвищу Стукоток, весёлый да работной, повсегда в щетине, вчера за столом сидели рядом — редкий случай, щека чистая. Подсмеивался над ним Сенька, что надо бы воевать, — а без мысли той, без зависти.

Да никому Сенька не завидовал, кто войны избёг. Переменок тут всё равно не устроишь, всем идти — легче не будет, а уж кому выпало.

Кузнеца — как не жаль? Кузнец — первейший, не у всех такой.

— А Лыву так и не берут?

Лыву — нет, не берут.

Лыва — Вася Таракин, моложе Арсения, и на действительную идти ему выходило как раз в Четырнадцатом году. А тут война. В первый же новобранческий призыв его и позвали. Пошёл он со всеми, но ближе месяца назад воротился. Что так? Ослобонили, нуметь. Да что ж, у тебя рук-ног нет? какая хворь? Никакая. Сказал я, что людей убивать не буду.

Вот тебе!.. Коли б его по мирному времени призвали и он бы отрёкся тогда — было более б с делом схоже. А то до войны молчал, не казался, а когда всем на войну — он в сторону. Не понравилось это Каменке. Не по-мирски: все идут — и ты иди, чем ты особенный? До того времени ничего дурного за Васькой Таракиным не замечали: старшим он был из шести детей, в 14 его лет умер отец, стал Васька и землю пахать и портяжить, вослед за отцом. Потом сестра подросла — мужа в дом взяла, и как уже кормильца не единственного — призвали Ваську. Конечно, в сочувствие можно войти, много ртов, — так и у всех немало, так и никому на войну расположения нет, но уж коль всех, так всех, — а чем ты выкрасовываешься? А он, вишь, с портняжеством прихватил — книжки читать, малые такие, по две-по три копейки. И вот, говорит, граф Толстой открыл мне глаза на идею Иисуса Христа. Все мы живём по воле Отца нашей жизни, и кроме Его никто лишить жизни не смеет.

Так и устроился Лыва — не пошёл на войну. И ещё дважды его призывали — и каждый раз ворочался вскорости. Так-то можно примоститься блаженненько, войну пересидеть, это б каждый мог!.. «Тогда ведь и поросёнка заколоть нельзя? и барана? Тоже-ть живое, от Отца нашей жизни», — ему дед Баюня. Признал Васька, перестал скотину колоть и мясо есть. Ну да зять егонный колет, семья не без мяса.

А теперь во как: и вовсе даже Лыву не призывали. На покой покинули.

Помрачился Плужников над списком, отняться не мог. Кого он тут называл давеча — Парамона ли Крыжникова, Кузьму Ополовникова да Мокея Лихванцева — силу деревни заметали вот. Недалёк уж был и он сам до метёлки, лишь несколько годов оставалось, ещё один такой набор. И кому же было — *волю* крестьянскую брать? через кого деревне на ноги становиться? Уносили в зубах как волки ягнят, и сколько ещё придут, через полгода или через месяц, и кого ни выхватят — отдай, Каменка!

И — некому крикнуть, что не разумно до такого края деревню испивать. Сходы собирать? депутатов слать к становому? Чем могла деревня противиться? где себя выявить?..

А Елисей с сыном — про родственников домахиных и дальних, и из соседних деревень, смекали — кого захватывают. Не чаи было распивать — идти домой, оборвался праздник.

А писарь Семён ещё подбавил, писарь ведь больше бумаг, наперёд знает: на днях, мол, будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне, а распубликуют ноне.

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?

Этак что ж — и Зиновея Скоропаса?

И Тевондина Лёксу?

Эких каких!

Ну, и Мишку Руля, стало быть. Пусть повоюет.

Уходить пора.

Агаша:

— Елисей Никифорыч! Сеня! Чайку же! Чайку!

Отец ей:

— Благодарим, Агаша, славно угощала. Но знаешь, гостей ко времени проводить — как с поля убраться.

Оборвался праздник.

За то время, что сидели они у Плужникова, — и схолодало, и притемнело, и ветер покрепчал. Посерёд улицы развороченную грязь густило, подмораживало, а утолоченные тропы вдоль домов и вовсе схватило. И пыль, и мелкие камушки ветер подхватывал, нёс, швырял, заметал вдоль села.

И сказал Елисей о хозяине:

— Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал — уже и огнём не выжжешь.

Там и сям калитки, двери хлопали от ветра сильней. Или — люди бегали из дому в дом, новость несли — и от того крепче стукали.

Дурная весть на месте не лежит и не сочится помалу — так и несёт её по деревне, как этим ветром. Хоть двум, хоть одному шепнул же что Семён ещё до Плужникова — вот и понесло, и избы знают уже, и где-то воют уже. А где ещё только угадывают — нашего как?

Завтра это всё прорвётся, и задвижется, и потянется по почтовому тракту в Сампур, под бабье голошенье, под песни достопротяжные, да под скрип колёс.

Нету жизни. Не дают устояться.

Такая погода — тучно, заморозно, да с ветром заметающим — ко снегу бывает.

— Ежели ляжет снег на мёрзлую землю — в луга поедем, Сенька.

~~~~~~~~

Собирай-ко-тесь, ребята,
Кто к военной служ́бе гож!
Зададим мы немцу перцу,
Пропадёт он ни за грош!

(«Биржевые Ведомости»)

47

С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников — двух, а лучше трёх. Твой посредник встречается кроме тебя ещё с двадцатью человеками, и только один из них — следующий в цепи; тот встречается ещё с двадцатью — уже четыреста возможностей, это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев.

У сверхосторожного Ленина существовало таких несколько линий.

Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию — директором его торгово-революционной конторы. Так развернул своё коммерческое призвание неутомимый изыскливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом — и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию, и в Швейцарию. Но условлено было, что когда приедет в Цюрих, всё по тому же правилу промежуточных звеньев он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошлёт Дору Долину, подружку Бронского. И то, что вот пришёл прямо на
~~~~~~~~

квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины, или чрезвычайные обстоятельства.

Как же некстати! Не только — сил, но даже не было ясного соображения в голове, но даже перебои в груди. И отказывать поздно: уже всё равно пришёл, видели его на улице, на лестнице, в квартире.

Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело, как будто через целый колодец, — туда, наверх. И лишь там высунутой головой увидеть этого маленького энергичного еврея из юго-западных.

Однако с большим самозначением, всё богаче одетого, и пальто такое, и шляпа (на единственный обеденно-письменный стол положил, нахал, а впрочем куда её деть тут?), и в руке — коммивояжерский лёгкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как её.

Спасибо хоть без этих церемонийных немецких «Wie geht's?», без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью. Огляделся насчёт безопасности, свидетелей. А уже — и Надя вышла, никого.

Почему же всё-таки — прямо, сам?

А — вот. Из глубокого внутреннего кармана — конверт.

Богатой, бледнозеленой бумаги, с гербом продавленным. И толстый, пузатый.

Как не стесняется Парвус и в мелочах показывать богатство! Вот — конверт. А приезжал в Цюрих — останавливался в самом дорогом «Бор-о-ляке». В Берне по дешёвой студенческой столовой (обед — 65 раппенов) шёл, ища Ленина, и пыхал самой дорогой сигарой.

И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене «Искру»!..

Ну так что, что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты-мелькания приходится объяснять товарищам.

Скларц даже удивляется, как это плохо воспитан господин Ульянов. *Дела* — так не делаются. Сказано: уничтожить, не уходя.

И показывает пальцем: мол, чирк — и к конверту.

Удивил! Мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли!..

Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обеспечить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля.

Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый. А Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повёл как разрезным ножом. Рвалось с лохматыми закраинами в одну и в другую сторону, как собака зубами, — и чёрт с вами, вот так вашему богатству! Насколько приятней держать в руках самый дешёвый конверт, писать — на самой дешёвой бумаге.

Вынул. Оттого и толстый, что бумага — еще богаче и толще. И написано — с размашистыми прописными буквами, разведенными строчками, да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как «Искру» посылали в Россию — на сверхтонкой бумаге.

Внимание. Стянуть нервы, прояснеть головой (так и не ел ничего после утреннего чая). Вникнуть.

Скларц — не хочет мешать, нет, он не развязен. Не болтая, пальто не снимая, идёт к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую, с фигурно продавленной тульей, оставил на столе.

Да свой баул не донёс до окна, опустил посередине комнаты на пол.

Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там, у окна. А Скларц уже занял тот стул, достал из кармана мятый иллюстрированный журнал, развернул важно.

А тут, что ж, лампу зажечь? Спичек не видно. И Надя на кухне.

Ба, лампа уже горит! Сбоку шляпы — стоит и горит малым прикрученным фитилём. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Скларц? Так он же... ? Странно.

Толстая веленевая бумага с гербами. А всего — три страницы. И — строчка на четвёртой, пустая четвёртая.

И ничего не было особенного — враждебного, властного или наглого, в почерке Парвуса, и вполне безлична подпись — «д-р Гельфанд».

Но из письма как током била в горячеющие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская её, Ленин обронил письмо на стол, как тяжёлое. И сам опустился на кровать, еле держась.

За двадцать лет своей жизни-борьбы переиспытал Ленин все виды противников — высокомерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично-захлёбчивых, дон-кихотствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил наповал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности в конце концов перевалить любого.

И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него как против врага.

А Парвус и не был противником почти ни дня, он был естественным союзником, он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзники, и год назад особенно, и вот, конечно, сейчас.

Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог.

Читал. Ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние.

Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть, или на какую полку поставить — только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках (и даже наивно пытался мирить их). Он был русский революционер, но в девятнадцать лет приехал в Европу из Одессы — и сразу избрал западный путь, стать чисто-западным социалистом, в Россию уже не возвращаясь, и шутил: «Ищу родину там, где можно приобрести её за небольшие деньги». Однако за небольшие он её не приобрёл, и 25 лет проболтался по Европе Агасфером, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское — но слишком большой ценой.

Случайно скосились глаза на скларцев баул — тяжёлый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем?

А вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму.

Тут в конце два отдельных пункта ясны. Две жалобы. Одна — на Бухарина-Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции, нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И вторая — на Шляпникова: очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается, а в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему.

Он назвался Parvus — малый, но был неоспоримо крупен, стал — из первых публицистов германской социал-демократии (был работоспособен не меньше Ленина). Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина (как он громил Бернштейна!), и подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг — покидал свои газеты, завоёванные публицистические посты, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество. У него был острый дальний взгляд, он первый, ещё в XIX веке, начал борьбу за 8-часовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, —

но едва предложения его превращались в движения, находили сторонников — он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своём пути.

Всё письмо прочёл до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке — на немецком или на русском? На обоих, фразы — так, фразы — так. Где на русском — с орфографическими ошибками.

И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать империи,— и страстный торговец, дрожала рука отсчитывать деньги. Ходил в обуви рваной, протёртых брюках, но ещё в Мюнхене в 901-м, когда Ленин скрывался у него на квартире беспаспортным, твердил: надо разбогатеть! деньги — это величайшая сила! Ещё в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти, — и уехал на Запад, лишь раз возвращался нелегально, спутником немецкого врача, напечатал: «Голодающая Россия, путевые впечатления». А сам между тем разбросал по России всю будущую сеть им же придуманной «Искры». И как будто же ушёл в германскую социал-демократию. Но едва началась японская война, почти не замеченная в женевской эмиграции,— Парвус первый объявил: «Кровавая заря великих событий!»

Света мало. Фитиль выкручивал — а он только калился и коптил. А-а, пустая, керосина нет, не налила.

И в том же 904-м предсказал: промышленные государства дойдут до *мировой* войны! Парвус всегда выскакивал, — нет, по грузности тела его выступал,— предсказать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвёт национальные границы. Или: что в будущем неразлучны станут война — и революция, а война мировая — и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать всё раньше Ленина. А иногда — чушь какую-нибудь: что вся Европа ослабнет и зажмётся в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией: что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или неосмотрительно ляпал, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но и в удачах и в неудачах всегда необычностью своей позиции и массивностью своей слоноподобной фигуры он загораживал половину социал-демократического горизонта и, как-то оказывалось, всегда загораживал Ленину — не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его, так что нельзя было обойти Парвуса, не столкнувшись. Он был — не противник, он всегда был союзник, но такой, что, смотри, не обомнёт ли тебе бока. Он был единственный на Земле несравненный соперник — и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не враг, всегда с протянутой рукой союзника — а руку принять не бывало возможно.

Что за баул? Величиной как будто со свинью.

Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не Девятьсот Пятый. Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего — исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь,— и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать р а б о ч е е п р а в и т е л ь с т в о! Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и просто! И он возражал Парвусу во «Вперёде», что лозунг — опасный, несвоевременный, нужно — в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули её женевской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неор-

ганизованно, и пролетариату даже не остаётся ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалятся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту.

Но вся женевская эмиграция осталась на месте, коснея, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, всё ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какую опять-таки он и предсказывал ещё в прошлом веке. Не большевики и не меньшевики, они оба были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоём.

С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату. А Скларц у окна как будто уменьшился?

Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции: да, я тогда ошибся. И вера в себя, и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом. (Хотя и Парвус только на год старше.) Да, я тогда ошибся, не всё видел, и дерзости не хватило. (Но даже близким сторонникам так нельзя говорить, чтоб не лишить их веры в вождя.) Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года, всё бродило, погромыхивало вокруг, а настоящая революция не разражалась. И ехать было всё ещё нельзя, и отсюда, из Женевы, разбирало негодование: что́ они там, олухи, не поворачиваются, что́ они революции как следует не начинают? И — писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и ещё раз энергия! о бомбах полгода болтаете — ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый кто как может — кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам — хотя бы на избиении городовых! А другой пусть убьёт шпика! А третий взорвёт полицейский участок! Четвёртый — нападёт на банк! Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего! — десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов!..

Нет, не бралось усталым умом несвоевременное письмо, не понималось. Читал — и не понимал.

...Казалось, так ясно: кастет! палка! тряпка с керосином! лопата! пироксилиновая шашка! колючая проволока! гвозди (против кавалерии)! — это всё оружие, и какое! А отбился случайно отдельный казак — напасть на него и отнять шашку! Забираться на верхние этажи — и осыпать войско камнями! и обливать кипятком! Держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских!

А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления: Совет Рабочих Депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство! — и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных — а всё захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем — Троцкий, а изобретатель Совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую «Русскую газету» — однокопеечную, вседоступную, народную по тону, и на какие-то деньги стал тираж её полмиллиона, и идеи двух друзей полились в народ. Учись!

Скларц у окна в своём стуле сидел всё дальше, всё мельче, как птица с опущенным носом, в иллюстрированный журнал.

В последние женевские дни Ленин писал, писал пером торопливым — всю теорию и практику революции, как он находил её в библиотеках по лучшим французским источникам. И гнал, и гнал в Россию письма: надо знать, по сколько человек создавать боевые группы (от трёх до тридцати), как связываться с боевыми партийными комитетами, как избирать лучшие места для уличных боёв, где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казённых учреждениях, банках, заводить знакомства, которые

могут помочь проникнуть и захватить... Начинать нападения при благоприятных условиях — не только право, но прямая обязанность всякого революционера! Прекрасное боевое крещение — борьба с черносотенцами: избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры!..

И, нагоняя последнее своё письмо, сам поехал в Россию. А там — ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседания Совета Депутатов. И Троцкий на трибуне взвивается, изгибается и самосжигается. И будто для этой открытой жизни и родясь, они с Парвусом блещут по всему Петербургу — в редакциях, в политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты. И даже создавалась какая-то фракция «парвусистов». И не то, чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания, — но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды...

Пробежаться бы до окна и назад — так пятнистый раздутый баул стоял как сундук, не пройдёшь. Да и сил нет в ногах.

В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом как боком слона. Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова. И лозунги Парвуса повторялись и читались, правильные вполне: после победы революции пролетариат *не должен выпустить оружия из рук — но готовиться к гражданской войне! своих союзников-либералов рассматривать как врагов!* Отличные лозунги, и уже не с чем выступить с трибуны Совета самому. Всё шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью, и уже трудно было пересилиться, подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание, уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе — и Ленин как продремал и пропрятался всю революцию: просидел в Куоккале — 60 вёрст от Петербурга, а Финляндия, не схватят, Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог: всю жизнь только и готовился к революции, а пришла — изменили силы, отлили.

А тут ещё Парвус выдвинул из тени (он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам) и подсунул Совету безымянно, как бы его, Совета, резолюцию,— Финансовый Манифест. Под видом заскорузло-стихийных требований неграмотных масс — программу опытного умного финансиста: единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом! Не откажешь — величайший, поучительный революционный документ! (Но и правительство поняло и через день арестовало весь петербургский Совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй Совет, другого состава. Пришли арестовывать второй — а Парвус снова не попал.)

Керосина в лампе не было — а горела уже час, не уменьшая света.

Надо было годам пройти, чтобы рёбра, подмятые Парвусом, выправились, вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как и этот слонобегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с пухлыми блондинками, — и наконец открыто поддержал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах, и явно поехал в Берлин.

Шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку. Да нет, лежала спокойно, как оставил её Скларц.

Через Христю Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везёт ему *интересные*

предложения, так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вёз эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая впрочем и пожертвования. И когда нашёл он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать,— Ленин, без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как вояжёр мирного времени, приехав из воюющей Германии?? (и Ленин хотел! и Ленин хотел!) — так Ленин просил его у б р а т ь с я в о н! (Верно! Только так!)

На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп!

Но увидеться — надо было! Не бумагами же всё переписываться, какая-нибудь да попадёт к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. (А Зифельду Ленин потом сказал: нет, отправил акулу ни с чем.) И в спартанско-нищей комнатке Ульяновых толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах, сидел на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной.

Тр-ресь!! — распёрло наконец баул — и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с бриллиантовыми запонками,— и разминая ноги, ступнул, ступнул сюда ближе.

Стоял — натуральный, во плоти — с непотягаемым пузом, удлинённо-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно.

Да ведь и правда! — давно же надо поговорить. Всё мельком, всё некогда, или в отрыве или в противоположности, и так трудно встретиться, следят враги, следят друзья, нужна тайна глубочайшая! Но уж если пробрался, какие тут письма, пришёл момент критический, поговорить накоротке:

— Израиль Лазаревич! Я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем всё так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества.

Ни — «здравствуйте», ни — руки не протянул (и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться, рука как в параличе, и «здравствуйте» тоже горло не брало),— а просто плюхнулся, да не на стул, а на ту же кровать, впритиску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати.

И наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного:

— Удивляюсь и я, Владимир Ильич: вы всё агитацией да протестами заняты? Что за побрякушки? — конференции какие-то, то тридцать дам в народном доме, то дюжина дезертиров?

И толкал бесцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой:

— С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием. Но вы-то! Если серьёзно д е л а т ь — неужели же прятаться по закоулкам, скрывать, на какой ты воюющей стороне?

Хоть горлом речь не выходила, но прояснела голова, как от крепкого чая. И без языка было всё взаимопонятно.

Ну конечно же, это был не жалкий Каутский — демонстрировать «за мир», а в войну не вмешиваться.

— Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры ми-

лосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны. Но был бы нужный результат.

Ну, конечно же, Парвус был основательно прав: надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила, и надо искать поддержки у неё,— всё так! Но — только до этого пункта. А дальше — Парвус зарвался. Увлекшись своими успехами, он оступается, это не первый раз.

— Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это — революционная честь. Чести — мы не можем терять, мы тогда всё теряем. Говоря между нами, по расположению наших с вами позиций — ну конечно союз. И конечно мы ещё очень понадобимся и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности... Один какой-нибудь Бурцев найдётся — и всё погибло. Так что придётся допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику. Ну, не настойчивую... спорадически так, иногда... Так что если...— Ленин никогда не смягчал и в глаза, жёстче сказать, крепче будет,— ...если там, например... морально опустившийся подхалим Гинденбурга... ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода...

— Да смешно, да пожалуйста,— горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса.— Вот я весной в Берлине получил миллион марок, из того миллиона сразу перевёл Раковскому, Троцкому с Мартовым, да и вам в Швейцарию, не получали? Ах, не вникали? Проверьте, проверьте у своего кассира, если не растратил... И Троцкий деньги принял — а от меня уже и отрёкся публично: «политический фальстаф»... Написал мне живому — некролог. Я ничего не говорю, это можно конечно, я понимаю.

И застыло-стеклянно смотрел из-под поднятых редковолосых бровей.

Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции. А любил он его как младшего брата.

Но на Ленина — он очень надеялся, и толкал, толкал его по кровати своею массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади.

— А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно д е н ь г и в руках иметь — и будет власть! А чем вы будете власть захватывать? — вот неприятный вопрос. Да хотя позвольте, в 904-м на III съезд и на «Вперёд» вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские,— ничего, пошли? А я теперь — лакей Гинденбурга? — пытался смеяться.

Всё было — точно, как прошлый раз, или это и было — прошлый раз?..— в комнате бернской мещанки? или в комнате цюрихского сапожника? или — ни в какой комнате? Как будто всё это говорилось уже раз, и вот по второму. Ни стола, ни Скларца, — а только кровать железная швейцарская массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешенья от них двоих, с ногами свешенными,— неслась по тёмному кругу, опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его:

— Ничего, это можно... Я понимаю...

Он — презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью.

— А по-моему, если *войну превращать в гражданскую* — так любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас с к о л ь к о? — издевался. — Не спрашиваю, не принято. А у меня — не у меня, а для дела — вот, миллион весной получил, этим летом ещё пять миллионов получаю. И будет ещё не раз. Как?

Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнтявость, всё слова, слова. А деньги — это не слова. Да.

Душила Ленина его самоуверенность. И восхищала реальность силы.

Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами:

— План! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и двадцать миллионов! Но главное место в этом плане я отвёл — для вас. А вы...

Дышал болотным дыханием, близко в лицо:

— А вы?.. ждать?.. А я...

Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб, полголовы — темя со слабыми волосами. И — беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

— А я — назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!!!

48

Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда ещё никуда определённо не предназначаешь их. Потом элементы давно известные, может быть и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру и именно в твоей голове соединяются в единый план — и до того же простой и ясный, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде.

Как не сложился прежде у германского генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первому?

Правда, у них не хватало понимания России. И от осени 14-го года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го всё надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы всё отвергнут. Это их и отвлекло.

А Парвус, отъединённый от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним — всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющем насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы («в социалистическом резерве», как советовал ему Троцкий) и обеспеченный никогда не узнать последствий этой битвы,— ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рождённого в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали.

Он не покидал его, ещё когда ехал на Балканы, где книги его читались шире, чем Маркса и Энгельса. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубавшего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломился, не забыл и от миллионов, так наплывно, и для всех таинственно, понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой-мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела: обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты! что — попадётся старый глупый медведь! Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории! самую первую колесницу социализма! Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов — Парвус ни речи не произнёс, Парвус ни строчки не напечатал, он не тратил времени, минуты не ждали, он сновал своими тайными ходами, убеждая стамбульских правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций, он спешил доста-

вать оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обеспечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорее могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. (И такие же заботы нагоняли его с Болгарией, он успел подготовить к войне и её.) Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу, с лозунгом: «За демократию! против царизма!».

Это надо было объяснить, обосновать, чтоб убедить как можно многих,— и неотупевшее перо легко разбрызгивало искры: не надо ставить вопроса о «виновниках войны» и «кто напал», мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически: как нам, мировому пролетариату, использовать войну, значит: на чьей стороне сражаться? У Германии — самая мощная в мире социал-демократия, Германия — твердыня социализма и поэтому для Германии эта война — оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии — он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма — военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, ещё более открывает нам, где истинный враг социализма: значит, победа Антанты принесёт новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать против русского царизма. А советовать пролетариату принять нейтралитет (Троцкий) — значит самоисключиться из истории, революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма — уничтожающий разгром России и революция в ней! Если Россия не будет децентрализована и демократизована — опасность грозит всему миру. А Германия несёт главную тяжесть борьбы против московитского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесёт и классовые завоевания пролетариату. *Победа Германии — победа социализма!*

На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться — «Союз вызволения Украины» из Вены (среди них были знакомые по «искровским» временам), потом армянские, грузинские националисты,— всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома.

Так напряжённый поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт, социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и План. До сих пор болтали социалистические программы всё об автономии — нет! Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу — и свободу, и социализм.

Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев (второпях набрали и хвастунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер-паша остановил экспедиции), в раздутой ёмкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый План. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника — германского правительства: цели всех троих ближайшие — совпадали!

Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца,— сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства (19 лет эта страна не кинула ему простого гражданства, закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке,— теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно за-

сматривали в его пророческие), в марте Пятнадцатого представить окончательный подробный меморандум и получить первый миллион марок аванса.

План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого быка — но и обух достойный готовил ему.) Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года (уж автор-то знал её! и в глазах имперского правительства гарантией солидности советчика то и было, что он — не приблудный коммерсант, но Отец Первой Революции) позволяет видеть, что все симптомы повторяются, все данные для революции сохранились, и даже, в условиях мировой войны, она потечёт ещё быстрей, но если умело её толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами социального восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве (на юге России у автора особо прочные связи). Назначается дата, уже есть такая наболевшая в России: годовщина Кровавого Воскресенья, сперва только — для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации — 8-часовой рабочий день, демократическая республика, но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольётся хотя бы малая кровь — и огонь побежит, побежит по всем бикфордовым шнурам! Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку «за свободу и мир!». Листовки на главных заводах — и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и в Москве! В 24 часа будет приведено в действие сто тысяч человек! К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники (подготовлены будут и они), останавливается всякое движение на линиях Петербург — Москва, Петербург — Варшава, Москва — Варшава и на юго-западных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты и на сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана: дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием ссыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсий, а когда уже беспорядки начнутся — произвести массовое перемещение ссыльных в Петербург, чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропагандой миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатанье нетрудно развернуть например в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Остриё пропаганды будет направлено в действующую армию. (Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подозревал всегда, что «Потёмкина» сделали японцы. Во всяком случае можно будет взорвать один-два броненосца.) Опытные агенты посылаются также и — поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово: с немецких самолётов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно — пустить в международное обращение, в Петербург и в Москву банкноты с одними и теми же номерами и сериями,— подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах.

Со всеми их Клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольтке-млад-

шим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной чёткостью штабов — никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха! до такого замысла!!!

Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям её. (Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла.)

И это же — далеко не всё! Одновременно начнётся революция национальная. Главный рычаг — украинское движение, без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание набок. Украинское движение перебросится дальше на кубанских казаков, а может заколеблются и донские. Естественно сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами: легко посылать им оружие, а через них — в Россию. Польша — всегда за пять минут до антирусского восстания и только ждёт сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнётся и Прибалтийский край. (По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии.) Националисты Грузии и Армении — уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами Центральных держав. Кавказ — раздроблен, и возбудить его будет трудней, но посредством Турции, через мусульманскую агитацию, подымем его на газават, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже.

И централизованная Россия — рухнет навсегда! Внутренняя борьба сотрясёт Россию до основания! Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков! Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою часть в земельном разделе. (Восстанут против офицеров, перестреляют генералов! — но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия.)

Однако (захватывая дыхание) — и это не всё! и это — не всё! Сотрясши Россию разрушительной пропагандой изнутри — обложить её и извне враждебностью мировой прессы! Антицарскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран — однако, захватывая слева направо, эта травля увлечёт затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира! Газетный крестовый поход на царя! И особенно важно при этом — захватить общественное мнение Соединённых Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта!

Вот что предложил Парвус Германии: вместо безнадёжной пехотно-артиллерийской мясорубки — одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв — в несколько месяцев из Антанты вырывался многолюднейший член её! Ещё бы не схватилось германское правительство за эту программу!

Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут её другие в Берлине: социалисты. Как примет его проект мачеха-партия, которой идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залётны вперёд, чтобы казаться реальными даже вождям; партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи, — и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем — вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами «В русской Бастилии». Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание — и пятно не отмылось даже теперь, 5-летней отлучкой. Но главное — необъяснимое легендарное, в один год, обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а *соци* — особенно. (Странная психология: будь это же богатство наследственным — никто б и не укорил никогда.) За одно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть — но нашли для возмущения более благородный повод: он стал пособником империалистов! Уж конечно там Клара и Либкнехт, но — Роза! когда-то близкая женщина (впрочем, и в близости стыдилась — его на-

ружности? — всегда скрывала связь),— и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн — отъединились, слабели, новое же самодовольное руководство искало слабостей в позиции перекатного социалиста: а как поведёт себя пруссаческое правительство после победы? а почему оно от русской революции смягчится и подобреет к социализму? а не накроет оно заодно и демократию Англии и Франции?..

И в возражениях этих — истина была, и сомнения — лежали там, — но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их! Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть: что *ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России!* всё остальное — второстепенно.

А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию.

Острота социалистических упрёков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли подняться ни на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже — чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм как в гробах: они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но — лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделываться моральным негодованием — на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в неё!..

Но — решительна для Плана была роль социалистов русских, и им отводилась в плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, бессильны — а ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству — устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунд, Спилка, поляки, финны, безусловно поддержат План. Но нельзя создать единства, не помирив большевиков и меньшевиков. А всё это будет зависеть — от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии.

Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и обеспеченность: нищие эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах: и для обычной простой жизни, что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда; и для своих непрерывных поездок и съездов, и для своих нескончаемых брошюрных-журнальных-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем, для своих трудящихся, всё равно,— кому в мире не хочется жить сытей, теплей, просторней? (незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу) — как могут отказаться эмигранты?

Однако едучи в Швейцарию, более всего предсмаковал Парвус успех от встречи с Лениным. Давно состарилось их мюнхенское сотрудничество, годами не виделись они,— но зоркий глаз Парвуса никогда не упускал этого единственного неповторимого социалиста Европы — совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплюйства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлечённого иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса. Чего не хватало Ленину — это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию — на дробление, отмежевание, мелкое шавканье, перебранку, драчку, газетные уколы, изводила его в ничтожной борьбе, в кипах исписанной бумаги. Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему

только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России. Сейчас!

Сейчас, когда младший сподвижник Троцкий, сердца кусок, отрёкся навсегда, когда Троцкому изменила жизненная сила и точность взгляда,— как призывно вспыхивала Парвусу жестокая ленинская звезда из Швейцарии: независимо, он высказывал всё то же: что не надо искать, кто первый напал; что царизм — твердыня реакции и должен быть сокрушён первым; что... По оттенкам побочных замечаний, потерявшихся в придаточных предложениях и не заметных более никому, Парвус видел, что Ленин не изменился ни в своей нетребовательности, ни в своей требовательности, что он не перекривится взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану,— только бы сокрушить царя. Оттого уже заранее слал Парвус ему вести об *интересных предложениях:* что союз заключится — сомнений не было. Лишь вот эти несчастные придуманные разногласия с меньшевиками, где Ленин был особенно глупо-непреклонен. Но и миллионы марок в поддержку — весили же что-то? В меморандуме германскому правительству Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России — как свою главную опору. Взять Ленина своею правой рукой, как в ту революцию Троцкого,— был верный успех.

На верный успех и ехал Парвус в Берн, и шёл по столовой с сигарой во рту, и был удивлён шумным отказом, но потом оценил разумность приёма. И на скудной кровати теснил, теснил легковатого Ленина — своими пудами:

— Да вам капитал нужен! Чем вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.

Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила — деньги, а уже из денег рождаются другие виды силы — организация, оружие и люди, способные этим оружием убивать,— всё верно, кто ж возразит!

Со своей бесподобной схватчивостью ума, без нужды на обдумывание, со своими мгновенными переменами в лице, вот уже усмешка соучастника обещающего, безо всякого задора отступая, прикартавливая:

— Почему — неприятный? Когда к деньгам относятся партийно — партии это приятно. Неприятно, когда из денег делают оружие *против* партии.

— Ну да впрочем, у вас же там что-то сочится,— дружелюбно-усмешливо вспоминал Парвус,— на что-то же «Социал-Демократ» выпускаете. Или,— фальстафовский живот его подрагивал от смеха,— или вы, положим, швейцарским налоговым агентам пишете, что, наоборот, живёте гонорарами с «Социал-Демократа»?..

Усмешка — часто была у Ленина, улыбка — очень редко,— вместо того он прищуривался, ещё пряча, пряча природой запрятанные глаза. И осторожно выбирал слова:

— Филантропические фонды всегда откуда-нибудь идут. Принимать благотворительность — вполне партийно, отчего же?

(Да денег не так уж скудно, можно бы всем жить посвободнее, как по бесстыдству и делают некоторые, через кого течёт. До неприличия швыряет деньгами Багоцкий, и никто не возьмётся проверить австрийские деньги у Цивина. Но тут — нельзя давить, можно всё испортить. Уж как течёт.)

Глазу не на чем остановиться — ни на обтрёпанном ленинском пиджаке, ни на латаном воротнике, ни на скатерти протёртой, ни в голой комнате, где вместо книжной этажерки — два ящика один на другой. Но Парвус — ничуть перед ним не стыдился своих бриллиантов, ни — шевиота, ни английских ботинок: всё это ленинское нищенствование — игра, партийная линия, чтоб задавать тон, служить примером, «вождь без упрёка». В этой задуманной, много лет исполняемой роли — в ней-

то и ограниченность, и убогость мышления. Но она — поправима, и Ленину тоже можно будет придать размах.

(А — нет! а — нет! По внутреннему протесту, по противоположности вело Ленина — самому во всяком случае и всегда отгородиться от всякого доступного близкого избытка. Достаток — другое дело, достаток — разумен, но избыток — начало разложения, и Парвус на этом попался. Деньги пусть текут и миллионами, но — на революцию, а самому — держаться в границах необходимого, самому считать даже раппены и гордиться этим. Совсем не для маскировки и лишь отчасти для примера другим, кого нельзя заставить.)

Быстрым взглядом искоса, снизу вверх, Ленин не враждебно, не обиженно:

— Израиль Лазаревич! Ваша вечная вера во всевластие денег — вас и подвела. Поймите, подвела.

(То ли при малых тратах — как в замкнутой комнате, как при полной секретности: ничего не утекает, твёрже себя чувствуешь, никогда не распустишься, всё сковано и связано. А богатство — подобно распущенной болтовне. Нет! Дисциплина во всём, и в этом тоже. Только в ограничениях развивается и движется настоящий напор. И даже: залог за то, чтобы жить в Швейцарии, основа безопасности и всей деятельности, 1200 франков,— есть, но: нет! не платить! — хлопотать — писать — подавать заявления о несостоятельности — просить персонального снижения в 10 раз — тратить золотое время на проходки к полицей-президенту и даже вместе с Карлом Моором, у кого свой бумажник в кармане раздутый и только руку протянуть, ассигнацию вытянуть. И получив наконец снижение до трёхсот —уплатить только сто и ещё потом долго торговаться, а переехавши в Цюрих — и вовсе не платить, но писать и просить, и переписываться с Берном: ту сотенку перевести в здешний кантон. Это умел Ленин: сжиматься — умел. Только сжатый — дышал хорошо.)

Смысл каждой беседы: себя без надобности не открыв — собеседника понять, понять до дна.

Колким прощупывающим взглядом, с усмешкой скептической:

— Ну — зачем вам собственное богатство? Ну, скажите! Ну, объясните.

Вопрос ребёнка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно. Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано». Вероятно, такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов. Утверждение себя на земле. Смысл жизни.

Вздохнул:

— Да это просто человечески: любить быть богатым. Неужели вы не понимаете, Владимир Ильич?

И — посмотрел. И вдруг в этой плешатé, и старой коже на висках, и уж слишком заострённом, уж слишком напряжённом изломе бровей заподозрил: а — не понимает, не притворяется. Всепронизывающий взгляд, а сбоку — совсем не видит.

Помягче ему:

— Ну как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, как приятно иметь полный слух,— вот так же и богатство...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение — стать богатым? Это была — врождённая потребность, а порывы торговли, гешефта, не упустить возникающую в поле зрения прибыль, были не планомерным программным, а почти биологическим действием его, происходящим почти бессознательно — и безошибочно! Это был — инстинкт его: всегда ощущать, *как* вокруг происходит экономическая жизнь и где возникают в ней диспропорции, несоответствия, разрывы, так сами и просящие, кричащие — вложить туда руку и вынуть оттуда прибыль. Это было настолько его существом, что все свои разнообразные финансовые дела, теперь уже раски-

нутые на десять европейских стран, он вёл без единой бухгалтерской книги, весь подвижный дебет-кредит — в одной голове.

(Ну, в конце концов, личное богатство — это Privatsache, частное дело, верно. Но глаза бурлили и добывали: вообще ли он — социалист? Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики — а социалист ли он?..)

Но если ближе к предмету разговора:

— Я же говорю вам! богатство — это власть! Пролетариат к чему стремится — к власти? Имя — у меня было двадцать пять лет, и побольше вашего, и оно ничего мне не дало. А богатство — открывает все пути. Да хоть вот и эти переговоры. Какое же правительство поверит нищему — и даст ему миллионы на проект? А богатый — себе не возьмёт, у него свои миллионы.

Несоразмерная, несимметричная голова доверчиво свисала набок, и дружелюбно, мирно смотрели на Ленина бесцветные философские глаза:

— Не теряйте момента, Владимир Ильич. Такие предложения жизнь подносит — один только раз.

Да, это понятно. Ещё в первые дни войны, испытав непривычное удобство — благоприятствующее, подхватывающее крыло (тогда — австрийское), во мгновение перенесшее, куда заказано (не было к Швейцарии пассажирского движения — понёс семью Ульяновых воинский эшелон), захвачен был Ленин открытием такого преимущества: не зависать, не плавать среди слов и понятий, слов и понятий, но раз навсегда покончить с беспомощным зябким эмигрантством, прильнуть и соединиться с движением настоящих материальных сил. Как всегда и во всём — и в этом Парвус опять его опередил.

— Чтобы сделать революцию — нужны большие деньги,— убеждал Парвус, налегши плечом на плечо, дружески.— Но, чтобы к власти придя, удержаться — ещё бо́льшие деньги понадобятся.

С другого конца — а поражало верностью.

По высшему центру своей мысли Парвус был несомненно прав.

Но по высшему центру мысли своей — несомненно прав был Ленин.

— Вы подумайте, если соединить мои возможности — и ваши. И при такой поддержке! При вашем несравненном таланте к революции! — сколько ж можно околачиваться по этим дырам эмигрантским? Сколько ж можно: ждать революцию где-то там впереди, а когда она уже вот пришла, за плечо берёт — не узнать?..

Э, нет! Ничем! Ничем — ни совместной радостью, ни жаркой надеждой, ни уж, конечно, лестью, нельзя было на пелену ослабить зоркость ленинского взгляда! Самая узенькая трещина расхождений замечалась им прежде и больше, чем массивы сдвинутых платформ. Пусть — отодвинутый, пусть — неудачник, но во всех удачах Парвуса, и в пророчествах Парвуса постоянно зная: нет, не так! или: нет, не полностью так! А хоть я — ничего не достиг, а правота у меня!

Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натощак, и ванну принять, и с женщинами поужинать, когда ревматизм не куёт к одру:

— Так и дальше думаете — деньги через налётчиков добывать? Теперь — «Лионский кредит» будете грабить? Так вас же в Каледонию сошлют, товарищи! На галеры!

Смех одолел.

В несогласии тонко шевельнулись брови Ленина. Но взгляд испытующий — беспристрастно смотрит на проблему.

Налетать на банки ещё прежде законной всеобщей экспроприации капиталов — теоретически здесь никакой ошибки нет, это — как бы взять взаймы у самих же себя из будущего. А практически — ну, как удастся. В чём за революционные годы большевики несомненно успели — именно в эксах. Начинали с налётов на билетные кассы, на поез-

да. А уж первые 200 тысяч из Грузии преобразили жизнь партии. А если бы в 907-м взяли в Берлине в банке Мендельсона 15 миллионов (Камо по пути арестовали, сорвалось) — так о-о-о! Метод рискованный, но очень эффективный, и во всяком случае не марает партию, как связь с иностранными штабами.

— Марает? Попасться боитесь? — тоже в щёлки сдвинул глаза, нарочно, стыдит, презирает и поучает Парвус.— А я вам скажу из верного опыта: на больших... предприятиях — никогда не попадётесь. А вот кто на маленьких жмётся — вот тот и попадается.

Толстокож! Что говорят — ему наплевать, прёт по миру тумбами-стопами, давит.

Косит у Ленина правый глаз. Сердится.

Парвус — в сочувствии. Он студенистыми руками берёт Ленина за обе руки, неприятная манера, он говорит как глубокий друг (с ним когда-то чуть не стали на «ты»):

— Владимир Ильич, не упускайте анализировать! Надо же проанализировать: отчего вы уже проиграли одну революцию? Не от ваших ли собственных недостатков? Это важно на будущее. Смотрите, не проиграйте вторую.

Да какая же наглая самоуверенность! Какого чёрта лезет в учителя? Опять себя навязывает в новые вожди? Уже ослеп от самолюбования!

Вырвал руки! И — с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздёрнутых бровях, в издевательской естественной стихии усмешки, когда краснеет радостно в глазах, насладённый торжествующей издёвкой:

— Израиль Лазаревич! Вы бы больше недостатки анализировали — свои. Ту революцию я не проигрывал, потому что я её не вёл. А проиграли её — вы! Как же вы сорвались?

И ещё тут — ничего не сказано, ещё остановиться можно. Но всё задыханье от этой туши, давившей рёбра столько лет, но сама стихия издёвки прорывает дальше нужного (и что́ у него кроме честолюбия? кроме жажды власти? кроме богатства?):

— А в Петропавловке — что вы так быстро упали духом, от одиночки, от сырости? Что за жалость над своим трупом? Что за патетический дешёвый дневничок на вкус немецкого филистера? Да бред об амнистии! Да без пяти минут жалоба царю? Да разве это похоже на вождя революции?

А сам? — маленький, плешатый, остробровый, остроглазый, с движеньями ёрзкими, суетливыми?

Но кроме них двоих — никому не оставалось быть.

Парвус никогда не краснел, как будто не было в нём той приливающей жидкости красной, а — водозеленистая, и такая же кожа. И — никак бы ему сейчас не гневаться, но когда Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и ещё подрагивал при этом, и ещё подрагивал — бросало забыть обо всех его достоинствах! И неразумно отбрить:

— Можно подумать — вы дрались на баррикадах! Можно подумать — вы хоть один раз прошлись в уличной демонстрации, когда ждались нагайки! Я по крайней мере бежал со ссыльного этапа! А вам — зачем бежать, если вы по ложному свидетельству вместо севера Сибири получаете Сибирскую Италию?

(Да тут чего только не вырвется: хорошо вам призывать к войне, из нейтральной Швейцарии да всю жизнь без воинской повинности!)

Если вот такое оскорбление выслушать публично — то надо политически убивать, шельмовать до уничтожения. Когда не публично — можно разные решения принять. Может быть, допустить и сочувственность в этой критике. Может быть, и сам забрал острее нужного, такая дискуссионная привычка.

Ах, неразумно было так говорить! Не за тем ехал в Швейцарию, чтобы ссориться.

Парвус — очень может быть полезен, занял исключительные позиции, зачем же ссориться с ним?

Ленин — основа всего Плана. Если он отшатнётся — кто же будет революцию делать?

И — опять усмешка ленинская, но совсем другая, не кусачая, а — проницательнейшая между умнейшими в мире людьми, и руку на плечо, и полушёпотом:

— А знаете? А хотите знать вашу главную ошибку Пятого года? Из-за чего проигралась революция?

Со встречной самоотверженностью учёного, готовый любое тяжкое признание принять:

— Финансовый Манифест? Поторопился?

Между сдвинутыми их головами — покачал Ленин, покачал пальцем, и улыбнулся как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз:

— Не-ет! Финансовый Манифест — гениальный! Но ваши Советы...

— Мои Советы — объединяли весь рабочий класс, а не дробили его как социал-демократы. Мои Советы уже постепенно становились властью. И если б мы добились тогда 8-часового рабочего дня, только его одного! — в подражание нам начались бы восстания по всей Европе—и вот вам *перманентная революция!*

Ленин хитро, щёлками глаз смотрел, как самолюбие Парвуса само себя выгораживало, и не торопился перебивать. Ещё эта проклятая путаная перманентная революция всех их троих рассорила: в разные годы, как по карусели, друг другу в затылок, они занимали её положение, а выйдя из тени её — настаивали, что двое других неправы. Двое других всегда были или ещё или уже несогласны.

— Да нет! — отмахивался Ленин заговорщицким шёпотом, и всё с тем же хитро-добродушным азиатским оскалом.— Вы же сами так верно писали тогда: непрекращаемая гражданская война! пролетариат не должен выпускать из рук оружия! — а где же было ваше *оружие?*

Парвус насупился. Никому не нравится вспоминать свои промахи.

Всё так же держась за плечо собеседника, приклонясь, со щёлками глаз и проницанием (он много думал об этом! да больше всего об этом и думал он!), и в расположении теперь поделиться:

— Не надо было ждать никакого Национального Собрания, ещё другого, помимо Советов. Собрали Петербургский Совет — вот вам и Национальное классовое собрание. А надо было...

Ещё доверительней, вперёд как на конус, как в фокус, всем острым лицом, и взглядом, и мыслью, и словами:

— А надо было со второго дня завести при Совете — вооружённую карающую организацию. И вот—это было бы ваше *оружие!*

И — замолчал, в свой конус упёртый. Уже больше ничто не казалось ему столь важно.

Парвусу обидно:

— Ну раз вы так знаете хорошо — вот и делайте.

Особенность кабинетного мыслителя, мечтателя — он думал годами, и вот открыл, и вот ничто не казалось ему и через десять лет сравнимо по важности. Разрушительное эмигрантство, далёкое от действия, от истинных сил! — жалкая участь. Вся энергия лет и лет ушла на раздоры, на споры, на расколы, на грызню — и вот распахивал ему Парвус всемирное поле боя! — а он сидел на кровати сжатым сусликом и усмехался в конус.

Второй по силе ум европейского социализма — погибал в эмигрантской дыре. Надо было спасать его — для него же самого.

Для дела.

Для Плана.

— Да вы — п л а н понимаете мой? Вы — План мой принимаете?!?

Пробить это его окостенение: он задремал? он коркой покрылся? он ничего не воспринимает.

Ещё придвинулся — и вплотную к уху, должен же вобрать:
Как глухонемой. Глаз — не прочтёшь. Язык не отвечает.
— Владимир Ильич! Вы — в союз наш вступаете?
Рукой повиснув на его плече:

— Владимир Ильич! Пришёл ваш час! Пришло время вашему подполью — работать и победить! У вас не было сил, то есть не было денег,— теперь я волью вам, сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах — кому платить деньги, назовите. Кто будет принимать листовки, литературу? Оружие перевозить трудней — но повезём и оружие. И как будем осуществлять центральное руководство? Отсюда, из Швейцарии, удивляюсь, как вы справляетесь? Хотите, я перевезу вас в Стокгольм? это очень просто...

Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь!
Вывернул из-под него плечи.

49

Прекрасно он всё слышал и всё понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности.

Довольно он уже ему о Девятьсот Пятом годе раскрыл.

Ещё бы мог он не оценить этого Плана, кто же бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твёрдая программа! Удары — осуществимы, избранные средства — верны, привлечённые силы — реальны.

Теперь уже можно было признать: такого третьего сильного ума, такого третьего проницающего взгляда — не было больше в Интернационале, только их два.

Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом даже гладком месте — подозревай! ищи западни.

Что ж, Парвус — опять впереди! Нет, теоретически, в общем виде, Ленин это самое и сформулировал ещё в начале войны. В общем виде — Ленин так и хотел, того и добивался. Но у Парвуса поражали деловые конкретности. Финансист.

Против этой грандиозной программы Ленин не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания.

Всё так. По простому расчёту — главный враг моего врага — первым союзником во всём мире оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига: последний дурак, кто пренебрегает серьёзными средствами в серьёзной борьбе.

Союз — да. Но выше союза — осторожность. Осторожность — не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности — и к чёрту весь ваш союз, и к чёрту весь ваш план! Нельзя же давать ахать и плеваться хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин в пользу Германии осторожно, что, там, Франция — республика рантье, её не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус — афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо.

Вот когда Ленин понял слабость его и своё превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым, и топал впереди, загораживая дорогу. Но у него не хватало выдержки на дальний бег: он не мог вести Совет больше двух месяцев, переубеждать немецких *соци* больше двадцати лет,— срывался, отваливался. А Ленин чувствовал в себе выдержку — на вечный бег, никогда не сорвать дыхания, бежать, сколько помнил себя,— и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав. А — не сорваться.

Союз — да, охотно, пожалуйста. Но в этом союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут — тебя. Держаться так, чтобы и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне. Конечно, он не пошёл стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться,— и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры, узнать намерения. Что ж, оставаясь в пределах своей истинной программы — свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение наций, отказ от проливов,— допустимо было чуть-чуть и подмазать: не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было: ведь надо же штурмовать британский империализм, и кому ж ещё другому? когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив, колёса затягивали, однако случай не опасный. Да и Кескула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских с-д — но и тут не чувствовал Ленин опасности: Эстонию так и так отпускать, как и все народы, из российской тюрьмы, искривления линии не было: каждый использовал другого, не оступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифельда и Моисея Харитонова, Кескула уехал в Скандинавию, и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности, добывал деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит — и с Россией.

Во всём этом не было грандиозности парвусовского плана, но малая тихая верность — была. А зато политическое лицо — чистое.

И всё чаще в Парвусе — нетерпение. Уже видя, что разговор идёт не так, он кандидата своего упускает,— с горечью, с презрением (а это помочь не может):

— Значит — и вы?.. Как все? Боитесь носик замазать? Ждёте?

А он так надеялся на Ленина!—уж *этот*-то, думал, с ним!

И вытягивая последние доводы, волновался, потерял своё миллионерское самодовольство:

— Владимир Ильич. Не отставайте от времени. Кому бы-кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли: эпоха революционеров с пачкой нелегальщины или с самодельной бомбой — отошла безвозвратно. Такие — ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера — это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами — людей, рублей, и ему должны быть доступны те рычаги, какими государства переворачиваются и ставятся. А к тем рычагам дойти нелегко, вот приходится попасть и в шовинисты.

Тоже верно. Верно. Но...

(Можно бы спросить: а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать бесплатно.)

Но... Вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. Не зыби дипломатических игр — в каждом союзнике прежде всего подозревай обманщика.

Ленин нисколько не дремал — он взвешивал. Если кто дремал — только не он, может быть Парвус в берлинских переговорах? Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу. И допрашивал, как достукивался в барабан:

— Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтобы напугать царя и вынудить к миру, не больше.

Да Па-арвусу ли надо объяснять! Это вид у него такой — богатый, упитанный, холёная эспаньолка с оплывшего двойного подбород-

ка. А если сказать откровенно (а когда-то же, кому-то же и откровенно), тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего Великого Замысла. Всё время это подозрение, что немцы вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царём, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются, и надо о них догадываться — и вовремя высмеять, опрокинуть: да царь уже и *не в состоянии* заключить мир! если он вдруг и заключит с вами мир — то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя,— и вы только усилите их позиции!.. Втолковывать пруссакам: нет уж, нет, *реальный* мир с Германией может подписать только правительство социалистическое. Дайте же «миру» быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства! Ему будет и легче идти на уступки: потому что оно не виновно в войне. От такого правительства Германия получит значительно б о л ь ш е...

Он уже *видел* тот договор, и готов был бы сам его подписать, обгоняя время.

И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он видел.

Всех подробностей не скажешь (не надо!): там есть разные направления у немцев. Большинство-то склоняется, что Англия — главный враг, и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. (Этого совсем объяснить нельзя, выверты аристократической традиции, скептическая интеллектуальная расслабленность, он не скрывает брезгливости к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков — глава министерства иностранных дел, конечно, задерживает очень.)

Но при своём изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау — это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусовского ума.

Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира! Напряжённо убеждать: революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество всё кипит, что ж говорить о рабочих, и даже военной промышленности,— довольно бросить спичку и всё взорвётся! Вот можно даже назначить точную дату — и выполнить её!

Но головастый, лобастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убеждённый, кажется, ещё меньше Ягова, безжалостно:

— Так соглашения у вас там — и нет? Недоговорённость? Видимость?

Всевечное преимущество того, кто не действует: переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки.

Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается Парвус:

— Не на бумаге с гербами, конечно! Оно всё в динамике! — и надо в каждый момент видеть все контуры и направлять его.

Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряжённо советовать: только не наступление на Петербург! Этим бы создался патриотический подъём, Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и — никаких военных успехов не давать царю и особенно важно не допустить до Дарданелл, то было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар — на южном фланге: через союзную Украину, отнять донецкий уголь — и Россия кончена.

А ещё они боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. И ещё приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию.

— Как это? как это? — дёрнулся маленький, всё же и поталкивая брюхатого, всё ж отвоёвывая себе место на кровати.— Да вы что?! Вы — примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы — и в самом деле так думаете? — остро, колко, допытчиво, исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа никогда не сдерживаться в оценках: — Так это ж — предательство!

(Нет, Парвус — не социалист, он кто-то другой!)

Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого *дела* нигде не коснувшись, маленький вот атаковал, порицал:

— Вот и куцо! Вот и не хватает предвидения? Да разве может революция устоять в одной стране?

Ну да, это все была та самая *перманентная,* та заклятая бесконечная карусель, на которой обречены они были втроём кружиться, кружиться, всё меняя места и разя друг друга попрёками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав.

Парвус — и не хочет германской революции? Он к ней — не стремится? Ну, не серьёзно же пишут о нём, что он стал немецким патриотом?

Но Парвус — уже не мальчик, на той карусели кружиться. Революционер нового типа, революционер-миллионер, финансист-индустриалист, может себе позволить выражаться и откровеннее:

— Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России — достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира!

Откровеннее — не значит откровенно. Деликатная проблема, её нельзя открыто выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот и с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь.

Этот шароголовый, перекатчивый, колкий — почти неуловим. Почти никогда нельзя предсказать его лозунга — удивит. И совсем никогда не узнать, что он думает. Особых задач социализма в России — он не понимает?

Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. (Парвус вообще заметил, что с дипломатами всё обсуждать и прямее и проще, чем с социалистами.)

И остаётся только настаивать по поверхности:

— Любым путём уничтожить сейчас — именно царизм, надо думать об этом только!

И — к главному: как уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть: какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания? Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера! Знал, за каким союзником теперь приехал! Десятилетиями казалось: безумный раскольник! Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда — подполье! только — подполье! партия профессиональных революционеров! В мирную эпоху это казалось дико — и Парвусу, и всем,— но вот, при войне, прорисовалось, наконец, какой же он запасливый догадливый умница! Но вот когда, наконец, пришла пора использовать его могучую тренированную скрытую армию! Вот когда, наконец, пригодится, что она есть. В расчёте на неё и составлен План.

Но Ленина так не собьёшь, не повернёшь, он — своё видит и своё настойчиво ведёт:

— И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию Пятого года на ситуацию нынешнюю?

Ну, это же ясно: война — разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс — несравнимы, революционные организации — сильней, либералы — и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился.

А Ленин всё — своё, его глаза как будто не прямо смотрят, а — по кривым линиям заворачивают.

— Хорошо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?

— Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить — как цель, для единства действий. Ну предложите другую. Но 9 января — наилучшая, символическая, все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улицу выйдут. А — лишь бы первые вышли, а там — пойдёт!!

Что-то жмётся, жмётся Ленин. Ну, понятно: излюбленное подполье открыть — значит отдать. Неохотно.

Уже то, что Парвус так горячо настаивает,— показывает, что хочет тебя использовать.

— Так как же, Владимир Ильич? Пришло время действовать!

(О, понятен ваш план! Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок плюс ваша финансовая сила плюс ваш теоретический талант, и вот вы — вождь единой партии и Второй революции? Снова?!)

Но — из глаз невычитываемых, но с губ непрошевельнувших, но через лысоту непроницаемого котла — с проницанием тоже нерядовым вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочёл и ответил с бокового захода:

— Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм: чтоб вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать,— только берите деньги, листовки, оружие — и посылайте! Я,— вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься ж в этих политических переговорах,— я, Владимир Ильич,— не тот, что десять лет назад. Я — в Россию не поеду. Я — считаю себя немцем теперь.

(Тем подозрительней. А что ж он всё — о России?)

— Мне только нужно, чтоб выполнен был План.

...Только может быть и План — мы понимаем не одинаково?..

Ртутно-неуловимый, ни в руки, ни в аргументы:

— Это значит — как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может.

Раза два ещё загребя, загребя обеими руками, туловище привалил:

— Да не марайтесь! Не надо! Эту грязь — я беру, я взял на себя. А вам — даю чистые миллионы. Только — подайте мне трубы, по которым их лить. Только сплетём наши подземные, подводные, тайные нити — и мы в з о р в ё м Вторую русскую революцию!! А??

И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови,— бесцветным концентрированным умом — проникал, хотел понять: отчего же — отказ?

Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило.

Двумя шильцами и с усмешечкой косенькой — недоверчивой, угадчивой и опровержительной, встретил Ленин такой заман:

— И для этого, вы сказали,— шелестел его голос ехидно,— примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С меньшевичками? — И откинулся, как отброшенный, ещё б и дальше, да спинка кровати держала: — Да вы что?!? Что значит — *примиряться*? У с т у п и т ь м е н ь ш е в и к а м???— Встряхами головы как бил, как бодал:— Ник-когда! Низ-за-что! С меньшевиками? Да пусть лучше царизм стоит ещё тысячу лет, но меньшевикам — не уступлю ни миллиметра!

Да он вообще — социалист ли?!..

А Ленин ещё доканчивал молча удары головой. Добивал кого-то. Договаривал что-то — со всею яростной мимикой, но — беззвучно.

Нич-чего Парвус понять не мог. Всё-таки, ехал — такого не ждал.

Великий неутомимый и самый крайний революционер при самой лучшей ситуации, при всех выстланных ему услугах — и не хотел делать революцию?..

Уже теряя надежду, уже так просто:

— Но для чего же тогда двадцать лет этих теоретических сражений, разграничений? Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье? Вот ему лучшее применение, другого такого не наступит во всю вашу жизнь! Что же вы, роль играли?

— Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили: кучка не может принести революцию массе. А сейчас?

Свесился, свесился Парвус, подбородком с головы, головою — с шеи, шеей — с туловища, руки между колен:

— Да-а-а-а... Ну что ж... Хорошо... Плохо... Времени осталось мало... Значит, буду создавать собственную организацию.

Просчитался Ленин! Пожалеет когда-нибудь.

— Хоть уступите мне кого-нибудь? Нашего общего друга?

(Рвать мостов не надо, ссориться не надо, Парвус ещё ого как пригодится.)

— Кого это?

— Ганецкого.

— Берите.

— Чудновский, Урицкий — у меня уже там. Бухарина?..

— Не-ет, Бухарин — натура не та.

— А — сами вы?

Да ведь Ленин уже ясно выразился: если очень-очень-очень скрыто.

— Так. А — в Скандинавию? Быстро перевезу.

Шильца-глаза:

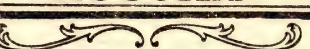
— Нет. Нет, нет!

Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул, от души:

— Да-а-а... А ещё была, всей жизни моей мечта, и вот теперь по средствам доступно: выпускать свой собственный социалистический журнал. — Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с кого пошло: — «К о л о к о л»!

Ух-хнула, бух-хнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.

Продолжение следует



АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ



Я НЕ УСТАНУ СЛАВИТЬ БОГА...

* * *

Пророчески сбылись библейские слова,
И ни одно из них не прозвучало праздно.
Открылось, что во всех подробностях права
Была история великого соблазна.
Какую слышал речь от змия человек?
— Как Боги будете, вкусив плоды познанья!
Не то ли слышим мы в космический наш век,
Хозяйски заглянув в глубины мирозданья
И тайну атома уразумев вполне?
А что затем? — ги́бель в огне?
Не захотели мы припасть к кресту Голгофы
И мчимся к рубежам всемирной катастрофы.

СОЛОДОВНИКОВ Александр Александрович (1893—1974) родился в семье учителя правоведения А. Д. Солодовникова, выходца из купеческой семьи. Мать, Ольга Романовна Мальмберг, происходила из рода заводчиков Абрикосовых, давших России инженеров и писателей, издателей и философов.

Александр Солодовников учился в гимназии, окончил императорскую Московскую академию коммерческих наук а в годы первой мировой войны добровольцем поступил в Алексеевское пехотное училище, был юнкером.

С началом гражданской войны поэт оказывается на Дону в деникинской армии. В 1919 году возвращается в Москву, где его вскоре арестовывают, и он почти два года проводит в тюрьме.

Репрессии 30-х годов не миновали поэта. В 1938 году он был схвачен и осужден. Впереди были 10 лет заключения в концлагере на Колыме.. После освобождения и вплоть до реабилитации в 1956 году Александр Солодовников жил и работал в местечке Сеймчан.

При жизни творчество поэта было известно лишь узкому кругу почитателей и ценителей и только в последние годы появились публикации в журнале «Новый мир», газете «Семья», альманахах «Исповедь», «Из бездны», «Поэзия».

Стихотворения Александра Солодовникова всецело религиозны, как бы исполнены теплом и светом православной веры. Каждое слово подкреплено собственной его страдальческой и исповеднической жизнью.

В Успенском соборе

СВЯТИТЕЛИ

Они лежат в своих гробницах
Под сводом вековых громад,
В кругу погашенных лампад,
А мимо них бездумно мчится
Маршрутом храмов и палат
Экскурсий торопливый ряд.

Бегут толпы слепые дети,
На что укажут — поглядят.
Им не обещано в билете
Явленье таинства столетий.
Лежат святители в гробницах,
А мимо них толпа влачится.

Толпа живых — лишь призрак тут,
А погребенные живут,
И обвевает эти стены
Дух непреклонный Гермогена,
Петра, Филиппа и Ионы,
Огонь молитвы их бессонной.

Не спят святители, не спят
В кругу погашенных лампад.
Они целители святые
Души смутившейся России,
Они — завет, они — залог,
Что наш народ не изнемог.

И если хочешь укрепиться
У родника духовных сил,
Приди, чтоб тайно помолиться
Перед святыней их могил.

Люди

1.

Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.
За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.

2.

Мы в огненном кольце... Людей терзает пламя,
Но праведники в нем не разлучились с нами,
И, словно отроков при вавилонском чуде,
Росою нас кропят светящиеся люди.
Дар Божий — видеть их, узнать, что есть они,
Святые новые в языческие дни.

Май в Лешкове

По утрам просыпаюсь под пенье
Флейты иволги за окном,
И иду умываться сиренью,
Погружаясь в нее лицом.

Я целую душистые кисти,
Окропляю себя росой,
И сливаю с шуршаньем листьев
Благодарственный шепот свой.

А с недальней лесной опушки
Призывает читать канон
Настоятельный возглас кукушки
И блаженных ландышей звон.

Там, в лесу, для молитвенной
встречи
Все готово, и сосны стоят,
Золотые затепливши свечи,
И возносится трав аромат.

Боже мой! Велика Твоя милость!
Ты позволил мне жить, как в раю,
Презирая душевную хилость
И великую скверну мою!

* * *

Чистая дева Мария,
Всем печальница грешным Ты,
Пошли мне не мудрость змия,
Но детский талант простоты.

Возвращение

Бегут, бегут мои года,
Уже седеет борода.
Вот на закате, весь в огне,
Какой-то берег виден мне.
И я догадываюсь вдруг,
Что жизнь моя свершила круг,
Что с корабля мне все видней
Знакомый берег детских дней.

Слышны родные голоса,
Блестит песчаная коса
И посвист иволги знакомый
Летит из рощи возле дома.
Уж скоро, скоро выйдет мать
Меня у берега встречать,
И всех, кого я потерял,
Вернет мне мой девятый вал.

Заключение

Книга жизни почти дочитана,
Нарастая, грядет финал.
Все, что мной на земле испытано,
Благодарственный гимн вобрал.

Славословлю Творца и Автора
Потрясавших меня страниц.
Не могу вспоминать их наскоро,
Перед каждою падаю ниц.

Верю: Смертью не нарушается
Связь с Художником и Творцом,
В новой жизни, что занимается,
Открывается новый том.

Лишь бы только за прегрешения
Не лишиться мне дара зрения.

✦✦✦

Благословен...

О, Мать-Земля, тебя люблю!
Когда умру — с тобой сольюсь.
В тебе растаю, распадусь,
В твоих стихиях растворюсь...
Как я люблю лежать ничком
В траве, к тебе припав лицом,
Вот запах твой, твое тепло!
Что ж! Если б тело перешло
В ростки и сделалось травой,
Ведь все равно я буду твой!
Твоя судьба — судьба моя.
Сгоришь ли ты, сгорю и я.
У нас с тобой один Творец,
Один Господь, один Отец.
И, превращаясь в прах и тлен,
Пою Ему: «Благословен!»
О, Господи, к Тебе пойду,
Предстану Твоему суду,
И верю: милость там найду,
Хотя повинен быть в аду.
С тех пор, как Жизнедавец Бог
Благословил мой первый вздох,
Я не знавал еще ночей
Без отблеска Его лучей,
Не видел пропастей таких,
Где б не встречал Его руки.
Все годы, юн я или стар,
Мне всякий день, как дивный дар.
Пою Небесному Царю:
«Благодарю, благодарю!»
И, обращаясь телом в тлен,
Пою Ему: «Благословен!»

Публикация Евгения ДАНИЛОВА.



ЭДУАРД БАЛАШОВ



В ЧИСТОМ ПЛАМЕНИ

Без конца

На святого на Захара
День стоит в крови по грудь.
В чистом пламени заката
Тает нажитая жуть.

Все уходит, что пристало,
Что налипло по пути.
На закате ало-ало
Догорают пустяки.

Остается лишь такое,
До чего еще брести,
Окропленное рекою
Покаяние нести.

И скала Елисаветы —
Сокровенное жилье —
Отворит Предтече Света
Вспоможение свое.

И привидится распятье
Под полуденным огнем,
Утоленье и пронятье
Милосердным копием.

А иному места нету,
А иного вовсе нет,
Если жизнь, не взвидя свету,
Набрела на черный свет.

Если вновь, минуя чудо,
Сквозь века из-за спины
В ночь уносятся Иуда
И предатели страны,

И мучители народа,
И ваятели тельца —
В чистом пламени ухода
Тают, тают без конца.

Есенин

Божье знамя — плат рассвета.
Лик священный на щите.
Голос русского поэта
Замирает в нищете.

Слово радости забыто.
Под забором красота.
Пляшет мертвая элита
На излучине креста.

БАЛАШОВ Эдуард Владимирович родился в 1938 году в городе Мариуполе. Окончил МВТУ имени Баумана и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «Гонец», «Хлебный ветер», «Глагол молчания», «Магнит», «Чаша». Член Союза писателей СССР.

По крови по эпохальной
По-над пылью столбовой
Встал — идет поэт скандальный
С золотою головой.

А вокруг страна лихая
Во коричневом дыму.
Голова его златая
Светит Богу одному.

К Спасу Ярое Око

Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Ты высоко во мне и далёко.
За нуждою к Тебе припадаю.
Ни за что ни про что пропадаю.

Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Накатилась твоих супостатов эпоха.
Ведь случаются бури на солнце
не даром.
И не даром земля полыхает
пожаром.

Отведи же десницу ослепшего рока,
Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Не утихла еще заповедная битва.
Не иссякла моя о России молитва.

Молитва матери

Господи, Ты помнишь человека?
Ты его еще не позабыл?
Если не иссякло в реках млеко,
Коим Ты ребенка напоил,
Если зреет плод в земном посаде,
Если птица вывела птенца,
Господи, молю я о пощаде:
Не забудь, не отврати лица,
Господи, Отца и Сына ради
И во имя Сына и Отца!

Наша брань

Если кто в труде и поте,
Если кто в любви и слове, —
Наша брань не против плоти,
Наша брань не против крови.

Если кто во власти страсти
И немерностей телесных, —
Наша брань противна власти
Духов злобы поднебесных.

Январь

Поля замучены. Предсмертье.
Кой-где снежок.
Неузнаваемо предместье.
Горбы дорог.

Ушли.
Слиняли как-то сразу
Дожди, леса.
Замерзшему в трясине «КрАЗу»
Помочь нельзя.

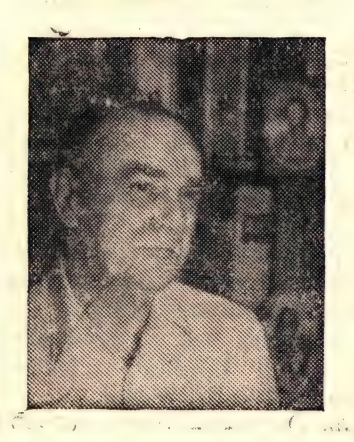
Свернулась стройка. Укатила
В январь зимы.
Лишь слышно, как скрипят
стропила
Под крышей тьмы.

Шумнет ворона. Брякнут кости
В гробу, на дне.
Иль ржавый трактор на погосте
Взбрыкнет во сне.

По-над рекой луна — что плошка.
Чуть светит лед.
А за рекой горит окошко.
Христос живет!



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ



...ДЕЛА НАШИ НА ЗЕМЛЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Как трава в поле

Были сороковые годы — грозные, николаевские.

Духовная Академия столицы всегда считалась учреждением строгим, это вам не семинария в благодатной провинции, где бурсаки выпьют и закусят соленым огурчиком. Учили крепко. Латынь, греческий, философия, история. Те академисты, что желали принять сан священника, обязаны были прежде жениться. Для этого они по гостям или танцам не таскались, на улицах не флиртовали, ибо у ректора Академии всегда хранился готовый список невест — тоже из духовных семейств, выбирай любую.

В это-то время и закончил Академию некий Осип Васильев — из очень бедной, почти нищенской семьи, но парень удивительно умный и образованный. Его диссертация на звание магистра «О главенстве папы римского», писанная им на латыни, выявила большую глубину познаний в истории церкви, ему стали прочить профессорскую кафедру. Но студент от кафедры отказался, говоря, что желает служить священником. Синод не возражал, от синодальных владык было ему авторитетно объявлено:

— Ладно. Ныне посольской церкви Парижа требуется как раз священник. Нынешний же отец Вершинский от старости в уме повре-

дился: со своим попугаем все разговаривает, обозревая с ним философию Пифагора по трудам Генриха Риттера. Но прежде женись. Для того и повидай ректора. Он всех невест в Питере знает...

Ректор предъявил Васильеву длиннющий список невест, которые, минует еще год-два, и перейдут в разряд «перестарков».

— Гляди в первый ряд,— указал он перстом.— Вот Евфимий Флеров, что священнодействует при церкви на Волковом кладбище. Сразу шесть девок на выданье. Езжай. Присмотрись...

Легко сказать — езжай, если до Волкова кладбища и своими-то ногами не ведаешь как добраться. Тьма египетская, заборы шатучие, дощатые мостки прыгают над лужами, словно клавиши у рояля, во мраке слыхать посвист молодецкий, а будочников или дворников не дозовешься: дрыхнут, окаянные! Кое-как добрел Осип Васильев до кладбища, постучался в дом отца Флерова:

— Я из Академии... чтобы жениться. Срочно. Нельзя ли?

— Можно,— отвечал глава большого семейства.— Это мы спроворим. Мигом. Вы присядьте. В ногах правды нету...

Стал он тут выкликать поименно: Анька, Санька, Лизка, Парашка, Дунька...— откуда ни возьмись так и сыпались, словно горох с печи, девицы на выданье, одна другой краше, и, глянув на жениха, все стыдливо закрывались от его взоров рукавами.

— Ну,— сказал отец Евфимий,— все тут мои, а чужих не держим. Выбирай любую, какая со спины поусядистее.

Осип Васильев тоже стыдился, говоря смущенно:

— Мне бы еще походить к вам — приглядеться.

Евфимий Флеров стал хохотать:

— Эва, чего захотел! К нам на кладбище-то ходить, так все мослы переломаешь. Укажи сразу, какую надобно. Ткни в любую перстом — и волоки ее под венец.

— Мне бы такую, дабы в Париже не стыдно было ее показывать. В отъезд беру. Хорошее место предвидится... в Париже-то!

— А-а-а, вот оно што,— помрачнел отец Флеров.— В эдаком разе надобно прежде выпить, чтобы потом тебе не раскаиваться...

Выпили и поговорили, обсудив во всех деталях каждую из шести невест. Когда Флеров побежал за второй бутылкой, Осип Васильев по зрелом размышлении остановил свой выбор на Аннушке, благо училась в пансионе Заливкиной и французский язык понимала. По тем временам дочерей священников почти не учили, считая, что и без ученья прожить можно, а вот кладбищенский поп шагал впереди своего времени, и девицы его даже танцевали, будто смолянки.

— Анюта лучше всех! — убежденно воскликнул академист, когда Флеров открыл бутылку.— О приданом даже не спрашиваю, ибо в Париже сулят мне жалованье изрядное... от посольства!

Сразу после свадьбы молодой благочинный с женою отбыли в Париж, а поспели туда как раз к революции, когда народ свергал короля Луи Филиппа, на улицах возводились баррикады, окна пришлось затыкать подушками, из которых по утрам вытряхивали пули, застрявшие в перьях. Под звуки выстрелов Анна Евфимиевна без особой натуги, а даже с некоторой приятностью спешно родила первую дщерицу. А потом как пошли, как поехали — дочка за дочкой, только успевай святцы листать, чтобы имя достойное избрать ради крещения новорожденной. Версаль был, конечно, разграблен, и отец Осип по дешевке купил королевский сервиз с коронною маркировкой, из чашек сверженного короля супруги Васильевы по субботам теперь распивали кофеек, рассуждая:

— Надо же! До того наш царь невзлюбил революционную Францию, что даже посла своего отозвал. Ныне остался лишь поверенный в делах — граф Николай Киселев, мужчина добрый.

— Ты, Осип, жаловался ли ему, что живем худо?

— Да печалился. А что он может сделать... поверенный!

Посольская церквушка на улице «рю Берри» располагалась в частном доме, тесная и неуютная, иконостасик был бедненький; при церкви же была и квартира Васильевых, окна которой выходили на мощеный двор, где росли ореховые и абрикосовые деревья — детям в забаву. Вне службы отец Осип носил наперсный крест под сюртуком, чтобы не привлекать внимания парижан; жена нарочно подстригала его очень коротко, священник носил цилиндр, никогда не расставался с тростью и лайковыми перчатками, внешне очень мало похожий на своих русских коллег. Васильев довольно скоро сделался достаточно известен в духовном мире Парижа как блестящий оратор, часто выступавший на богословских диспутах в защиту догматов православия, и даже нажил себе немало врагов — после того как победил в споре иезуита Яловецкого; этот иезуит не забывал о позоре своего поражения и, кажется, только выжидал случая, чтобы отомстить молодому «схизмату»...

Васильев не раз доказывал графу Киселеву:

— Не стыдно ли, что великая Россия имеет в Париже церковь, размещенную в двух комнатушках, и это при том, что колония русских аристократов в Париже столь многочисленна? Разве станут уважать нас французы, если мы своего храма в Париже до сей поры не имеем — при том, что даже мусульмане мечеть имеют?

— Личные симпатии нашего императора,— отвечал Киселев,— издавна обращены к Берлину, а с Парижем он привык не считаться. Боюсь, Осип Васильевич, что давнее напряжение в политике двух великих держав приведет нас к войне с французами...

Жалованье у Васильева было достаточным, семья ни в чем не нуждалась, отец Осип даже откладывал, как водится, «на черный день». Анна Евфимиевна, урожденная среди могил Волкова кладбища, поразительно быстро освоилась с парижскою жизнью, но дома супруги говорили только на русском языке. Женщина исправно рожала только дочерей, словно по заказу, а чтобы девочки от колыбели освоили язык своей отчизны, Васильев выписал из России деревенскую девку; эта девка мигом научилась французскому, пила теперь не чай, а лишь кофе, по вечерам она бегала в театры смотреть мелодрамы с таким жестоким содержанием: она его полюбила, а он ее разлюбил... Ну, как тут не разреветься? И возвращалась из театров каждый раз плачущая навзрыд.

Иногда же, с кошелкой в руках, одетая как француженка, ничем не отличаясь от парижанок, мадам Васильева сама навещала соседнюю лавчонку в конце улицы «рю Берри». Однажды попросила нарезать ей ветчины для ужина. Француз отрезал два тонких, как бумага, ломтика, спрашивая: «Хватит?» Мало. Отрезал еще один ломтик с тем же вопросом. Опять мало. Лавочник потом резал, резал и резал, каждый раз спрашивая: «Хватит?» И так вот (с вопросами) накромсал для попадьи целый... ф у н т.

— А-а,— догадался он, радуясь своей сообразительности,— у вас, наверное, сегодня вечером большой прием и вы, мадам, готовитесь принять много-много гостей...

Анне Евфимиевне было стыдно сознаться, что этот фунт ветчины будет уничтожен вечером ею самой и мужем, а гостей она не ждет. Иногда мадам Васильева выводила восемь своих дочерей на прогулку — до парка Монсо и обратно. Все девочки в беленьких платьицах, в одинаковых прюнелевых туфельках, все в одинаковых шляпках «а-ля фурор», каждая младшая держалась за поясок старшей, идущей впереди, а сама мать время от времени раздавала им несерьезные «шпандыри», чтобы вели себя чинно и благопристойно.

Эту процессию однажды увидел тот же самый лавочник.

— А-а,— вмиг догадался он,— мадам — учительница и вывела на прогулку школу своих малолетних учениц... Браво!

Анне Евфимиевне опять было стыдно сознаться, что она сама про-

извела на свет целую «школу», а в чреве ее уже колыхался следующий плод,— дай-то ей Бог мальчика!

Вот уж чем прославилась мадам Васильева в Париже, так это умением засаливать огурцы, и на французов эти огурцы всегда производили очень сильное и даже, я бы сказал, тревожное впечатление от встречи с «русским деликатесом».

Париж, между прочим, был переполнен россиянами. Как правило, богатейшими аристократами. Многие осели здесь сразу после Венского конгресса, обзавелись своими домами, некоторые давным-давно перешли в католическую веру, иные даже забывали родной язык, вспоминая о России лишь в тех случаях, когда деревенские старосты задерживали выплату денег с того оброка, который они драли с крепостных. Захудалая церковь при русском посольстве, конечно, посещалась этими полуэмигрантами неохотно и то лишь от случая к случаю...

Все дети Васильевых, живущие интересами родителей, привыкли видеть на своем дворе такую обычную картину: возле металлических гробов часто суетились рабочие, которые запаивали эти гробы для очень дальней дороги,— так, забыв о родине, в ее великое материнское лоно возвращались все те, кто отжил, отблудил и отплясал свой срок на праздничной чужбине.

. . . .

Васильева однажды навестил пасмурный граф Киселев:

— Помните, о чем я вам говорил? Так именно и случилось. Наш император вкупе с его канцлером Карлушкой Нессельроде все-таки привели Россию к войне с французами, и я отзываюсь со своего поста. Дипломатические отношения уже прерваны.

— А как же я, Господи? — расплакался тут священник.

— Вас политика не касается. Вы остаетесь при русской церкви в Париже, где русские интересы отныне будет представлять саксонский посол барон Лео Зеебах, он же и любимый зятек нашего поганца Нессельроде, женатый на его дочери...

Впрочем, читатель, винить во всем Николая I тоже несправедливо. Стоило ему начать строительство солдатских казарм на Аландских островах в Балтийском море, как в Лондоне лорд Пальмерстон сразу же заявил, что эти казармы угрожают безопасности Великобританской империи. Возникшая война, поименованная «Крымской», прославила русского воина героической обороной Севастополя, но она — будем честны! — не вплела благоухающих лавров в викториальные венки былой русской славы.

А первый удар по России англо-французы нанесли не в Крыму, они всем флотом обрушились именно на эти злополучные казармы на Аландском архипелаге. Там и гарнизона-то было — кот наплакал, но союзники целый месяц утюжили защитников островов бомбами, высаживая десанты. Вместе с остатками гарнизона попал в плен и его начальник Я. А. Бодиско (это дед по матери нашего известного писателя Сергея Минцлова, о котором только теперь стали иногда вспоминать). Генерала Бодиско, угодившего в полон вместе с женой и детьми, французы разместили в гаврском «Отеле Великого Оленя», а его солдат спровадили на остров Экс, что расположен в устье реки Шаронны,— именно на этом острове Экс сдался император Наполеон, и отсюда он отправился на другой остров, Святой Елены, где и смежил свои завистливые очи...

— Ну, мать,— сказал Васильев своей верной супружнице,— вот и настал для нас черный денек, на который загодя мы откладывали... Давай теперь все, что скопили!

Для получения полномочий ради посещения соотечественников Васильев навестил военного министра Жана Вальяна.

— Не возражаю! — охотно согласился министр.— Но вы напрасно волнуетесь, аббат. Ваши пленные офицеры вольны сами избрать для проживания в плену любой город Франции... кроме Парижа, конечно. По тарифам от 1837 года генерал Бодиско будет получать от нас по сто шестьдесят шесть франков в месяц на всем готовом, полковники — по сто франков, ну и так далее — по рангам...

По словам Вальяна, пленные солдаты имеют дневные порции французского пехотинца: полтора фунта белого хлеба, полфунта мяса, а в супе каждого будет вариться шестьдесят граммов турецкой фасоли,— все французы этим пайком довольны. Васильев, взяв из домашней кубышки все деньги, отправился на остров Экс, где были старинный форт Лидо и деревня,— именно здесь разместили солдат аландского гарнизона осенью 1854 года. Пленным разрешалось гулять и купаться в море сколько им угодно, но не позже шести часов вечера они были обязаны являться к форту на перекличку. Священника они встретили почти восторженно:

— Гляди, братцы, наш-то поп, и прямо из Парижа, только бороды нет и стриженый, будто барин какой...

«Я,— докладывал Васильев в Синод,— отведал хлеб, говядину и суп пленных, найдя их весьма хорошего качества». Но зато он выслушал немало нареканий по поводу белого хлеба.

— Души в нем нету,— жаловались солдаты.— Нашего ржаного как навернешь с утра пораньше, так до вечера песни играешь, а этот... Мы его после обеда доедаем — в забаву!

Васильев понимал причины солдатского недовольства. Русский солдат имел от казны на день три фунта черного хлеба, щи с мясом да кашу с маслом, а потому порция французского пехотинца его никак не насыщала. Васильев развязал свою мошну, щедро наделяя солдат деньгами из собственных сбережений, а еще сто франков он вручил врачам в лазарете:

— Это вам, мсье, на рыбий жир... Мало ли что! Может, кому из наших солдат надобно подкрепить здоровье.

Двадцать жандармов стерегли русских пленных в стенах форта Лидо, но пленные на этих жандармов не обижались:

— Мы с ними в подкидного дурака режемся, они ребята — хоть куда. Мы, отец Осип, только местных мужиков да баб ихних не уважаем! До чего ж зловредные... И таки хапуги, таки скопидомные, так и норовят, как бы нашего брата обжулить.

Целую неделю Васильев прожил с пленными, собирал солдатские письма на родину, чтобы переправить их в Россию с дипломатической почтой саксонского посланника. На обратном пути он завернул в городок Ла-Рошель, где жаловался префекту на жителей Экса, что ведут себя алчно, за гроши выманивая личные вещи у пленных, а русские деньги меняют только за полцены:

— Между тем, вы, префект, не можете иметь жалоб от жителей Экса на русских военнопленных. Ведут себя порядочно.

— Вы правы,— согласился префект Ла-Рошели.— Поведение ваших солдат достойно всяческой похвалы. Надеюсь, вас устроит мое решение: отныне всем французам, повинным в обмане русских или в стяжательстве за счет пленных, я определю наказание: три месяца тюрьмы или штраф в триста франков...

Довольный поездкой, Васильев вернулся в Париж, откуда сразу отправил на остров Экс своего певчего Алексея Копорского с наказом, чтобы образовал могучий хор из числа пленных:

— Они там с жандармами дурака валяют, а ты распевай с ними песни народные, чтобы поплакали, о родине поминая. А я поговорю с Вальяном, чтобы белье им меняли почаще...

На последние деньги Васильев купил для пленных несколько пудов туалетного мыла, отправил с певчим тридцать фунтов свечей, чтобы пленные не сидели в потемках, а романы Дюма читали. Вальян

снова принял священника, обещал менять белье пленным раз в неделю и выдать солдатам шерстяные одеяла. Беда подошла с той стороны, с какой Васильев никак не ожидал ее.

Вальян вдруг отказал ему в своей протекции:

— И прошу более не беспокоить меня своими визитами. Я не думал, что в лице русского кюре встречу опытного шпиона. Впредь посещать пленных на острове Экс я вам запрещаю!

В чем дело? Оказывается, иезуит Яловецкий, однажды побежденный Васильевым в богословском диспуте, решил отомстить священнику. В газетах появились статьи о том, что русское посольство оставило его в Париже — шпионом, а популярная «Монитор» известила парижан о том, что Васильев, бывая на острове Экс, занимался не религией, а — политикой, побуждая своих соотечественников к бунтам и побегам...

— Не,— сказал Васильев супружнице, попросив ее как можно короче подстричь ему бородку,— я в газетную полемику ввязываться не стану, ибо никаких денег не хватит, чтобы отбрехаться от газетных волкодавов. Я пойду сразу наверх...

Вскоре император Наполеон III был очень удивлен, что аудиенции у него домогается православный священник. Как это ни странно, читатель, но владыка Франции, человек достаточно образованный, почему-то считал, что православие — это лишь секта, выпавшая из-под власти Ватикана, дабы Россия постоянно вредила папе римскому. Свидание с «сектантом» казалось ему забавным:

— Приму! Стоит посмотреть на этого дикаря...

Удивление императора возросло, когда вместо «дикаря», заросшего волосами, которого еще при входе следовало бы обыскать с ног до головы, перед ним предстал элегантный господин с великолепной осанкой, а речь этого «дикаря» была слагаема на классическом французском языке.

— В положении, в которое я поставлен,— говорил Васильев,— мне очень трудно опровергнуть те обвинения, что высказаны вашей прессой, оскорбившей достоинство моего духовного сана. Я решился бы страдать молча, если бы в моем Божьем слове не нуждались мои страдающие единоверцы...

Во время почти часовой речи, выдержанной примерно в таком духе, Васильев разрушил наивное представление Наполеона III о русских «сектантах», и Наполеон III, слушая Васильева с огромным вниманием, не однажды восклицал — в полном недоумении:

— О, монсеньор аббат!.. о, монсеньор кюре!..

Цитирую: «После окончания (речи) император долго молчал, удивленно глядя на Васильева, наконец разразился комплиментами, извинениями за подозрения в шпионстве и сказал: «Теперь я вас лично знаю и никому более не поверю, все оказалось газетной клеветой...»

Радостный, Васильев вернулся домой.

— Мать,— сказал он жене,— я получил карт-бланш на свободу поведения от самого императора... Подзайми денег у соседей, продай что угодно, хотя бы даже этот королевский сервиз из Версаля, ибо нам предстоят немалые расходы.

— Что ты еще задумал, отец?

— Наши-то Ваньки да Васьки вернутся после войны по домам, разъедутся по своим деревням, станут их там спрашивать — какова жизнь во Франции? А они, кроме форта Лидо на острове Экс, ничего путного и не видели. Вот и замыслил я — поочередно звать наших пленных в Париж, чтобы погостили у нас да Париж посмотрели... не все же аристократам глазеть на него!

С той поры так и повелось. А полиция Парижа скоро привыкла, что в квартире Васильевых всегда полно пленных. Никаких забот от них ни хозяину, ни ажанам не было. Но однажды один из наших, некто Феденька Карнаухов, решил гулять по Парижу в одиночку. Васильев

не стал его отговаривать, но заранее внушил солдату, чтобы допоздна не шлялся, на девок парижских чтобы не заглядывался, объяснил, как вернуться домой, нигде не плутая:

— В случае чего — спрашивай нашу улицу, рю Берри, тебе каждый ее покажет... Запомнил?

— А чего тут не запомнить? — отвечал Федя...

Ушел и пропал. Только на третий день поисков военнопленный был обнаружен в тюремной камере как злостный бродяга, упорно не желающий назвать свое имя и звание. Вызволив Карнаухова из полицейского заточения, отец Осип ругал его:

— Почему ж не назвал улицы, чтобы домой вернуться?

— Как не назвал? Я им русским языком талдычил: хрю-возьми, хрю-возьми, хрю-возьми... Вот они меня взяли и потащили!

— Дурень сиволапый! Да не хрю-возьми, а рю Берри.

— А какая тут разница? — отвечал бравый солдат...

Война закончилась и наступили новые времена — либеральные, в России началась пора гласности и обновления. За то, что денег своих не пожалел, лишь бы помочь на чужбине военнопленным, протоиерей Осип Васильев был награжден орденом св. Анны 2-й степени — с публикацией о том в столичных газетах. Анна Евфимиевна за время войны с Францией умудрилась вновь забеременеть, а ее постаревший отец Евфимий Флеров, что священнодействовал над могилами Волкова кладбища, писал дочери, чтобы привезла в Питер своих доченек — посмотреть на них. Для внучат старик уже насушил целую гору черных сухарей, заранее присыпав их крупной солью. «Клопов,— сообщал отец дочери,— я заранее кипятком прошпарил, а вот тараканов, сколько я ни травил их, никак не вывести».

— Надо ехать,— загрустила жена.— Не ровен час, помрет папенька, а потом жди-пожди, когда еще мы с ним на том свете повидаемся? Едем. Пусть наши чада сухарей родных погрызут. Эдакого-то лакомства, да еще с солью, где в Париже увидишь?..

Семья Васильевых приплыла в Петербург на пароходе.

Выставив большущий живот, ковыляла попадья на высоких каблуках по родимым булыжникам, за ней длинной цепочкой двигались ее чада — уже подросшие, чуть поменьше, еще меньше и совсем маленькие. Сейчас увидят они перепуганных тараканов в домике на Волковом кладбище, станут грызть черные сухари с солью...

. . . .

За время пребывания в столице Васильев усиленно хлопотал в Синоде, чтобы тот не скупился в средствах ради создания в Париже православного храма. Этот храм был заложен еще в 1859 году (пятиглавый, красивый, богатый), но денег для его завершения, как водится, не хватало, и тогда отец Осип, уже потеряв всякую веру в помощь синодальных властей, обозлился на всех и махнул прямо к открытию Нижегородской ярмарки.

Посмотрел он там, как широко гуляют купцы первой и прочих гильдий, как швыряют они сотенные бумажки к ногам плясуний да цыганок, и начал стыдить толстосумов, убеждая их жертвовать на построение парижского храма. Своими проповедями он мешал купцам веселиться, даже надоел им! Послали они своего малого за мешком, который почище, и в один мах нашвыряли для отца Осипа полный мешок денег — новенькими ассигнациями, только бы он отвязался от них со своими поучениями о нравственности! Пересчитал деньги Васильев и подивился:

— Мать честная! Двести тыщ и, кажись, даже более...

Вскоре Париж обзавелся большим православным храмом.

Французов, желающих посетить этот храм, было очень много. Но в церковь запускали партиями — не более двухсот человек зараз, при

этом сторожа сшибали с парижан котелки, а у парижанок они силком отнимали визжавших от страха собачек...

В 1867 году, когда при Святейшем Синоде был образован Учебный Комитет, Осипа Васильевича Васильева отозвали в Петербург, где он и стал первым председателем этого Комитета. В столице Васильев славился как литератор и ученый богослов, время от времени — не так уж часто! — он читал великолепные проповеди в Сергиевском соборе на темы общенародной морали, которые неизменно привлекали громадные толпы верующих.

Постоянное умственное и нервное переутомление сказалось на здоровье Васильева, когда он был еще полон нерастраченных сил. Васильев умер от инсульта в возрасте 60 лет и был погребен — рядом с женою — в Александро-Невской лавре столицы. В самый разгар первой мировой войны была издана его переписка...

Тогда же его дочь Лидия писала: «Что дела наши на земле! *Как трава в поле,* опалило нас солнце — и все исчезло...»

В самом деле, не хочешь, да все равно задумаешься!

Вот жил человек, любил, страдал, радовался и огорчался, о чем-то хлопотал, что-то делал, а... где же все это? Пожалуй, остался от него один только храм в Париже, зато вот о нем самом — ни звука, будто и не было на свете этого человека...

Не знаю, как вам, читатель, а мне печально.
Неужели и нас никогда не вспомнят?
Неужели и мы с вами — «как трава в поле»?

Есиповский театр

На этот раз я приглашаю своего читателя в... театр.

Только не в московский или петербургский, которые подробно описаны в наших солидных монографиях,— нет, я заманиваю вас в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия насчитывалось около *двухсот* частных театров с крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов. В конце самых кровавых трагедий публика, естественно, требовала развлечений.

«...тута наш Эдип горящую паклю голым ртом жевать приметца и при сем ужасном опыте не токмо рта не испортит, в чем всяк любопытный опосля убедитца, в рот ему заглянув, но и грустного вида не выкажет. За сим уважаемые гости с фамилиями (семьями, говоря иначе) почтительнейше просютца к ужыну в конец липовой аллеи, туды, где моя аранжирея...» — здесь, читатель, я процитировал театральную афишу села Сурьянино Орловской губернии.

Боже мой, как давно это было, и если уцелело Сурьянино до наших времен, то колхозники вряд ли посещают местный театр, где актеры без боязни жуют горящую паклю, после чего «фамильно» гуляют в оранжереях, поспешая к веселому ужину. Между прочим, я давно заметил: каждый раз, когда речь заходит о крепостном театре (именно таким он и был в русской провинции), сразу же вспоминают знаменитую Парашу Жемчугову:

— Вот вам! Крепостная девка, а стала «ея сиятельством», продлив род графов Шереметевых до самой революции...

Но случай с Парашей исключительный, недаром же о ней так много написано. Спасибо и Герцену за его «Сороку-воровку», и Лескову за «Тупейного художника», и князю Кугушеву за его «Корнета Отлетаева», они задолго до нас раскрыли пыльные кулисы крепостного театра, расписанные доморощенными Рафаэлями,— те самые кулисы,

где скрывались любовь и ненависть, коварство и злодейство. История таких дворянских театров имела немало летописцев, но из прискорбно-героической летописи я, читатель, безжалостно вырву для вас только одну старинную страницу...

Слушайте! Я буду рассказывать то, что известно из стародавних воспоминаний, а заодно расскажу о том, что ускользнуло от пристального внимания наших историков-театроведов.

В самый канун прошлого века среди множества частных театров когда-то славился и театр помещика Петра Васильевича Есипова в его селе Юматово, что находилось в сорока верстах от Казани. Место глухое, в стороне от больших дорог, а театр все-таки существовал, хотя владелец его ни титулом, ни чином не блистал — всего-то лишь отставной прапорщик. Кстати, холостяк!

Отыгравшую летний сезон в Юматове для гостей и заезжих Есипов на зиму вывозил труппу в Казань, где он выстроил городской театр, постепенно разоряясь на музыкантах и декорациях, отчего денег ему хватало только на освещение сцены, а зал тонул в кромешном мраке, почему публика ездила к Есипову со своими свечками, губернаторша привозила в свою ложу домашнюю лампу. Петр Васильевич допускал в театр также и местных татар, для которых однажды поставил оперу «Магомет». Когда же на сцену вынесли чалму Магомета, «среди татар возникло смятение: торопливо скинули с ног своих туфли, попадали ниц для молитвы и, наконец, всей толпой хлынули вон из театральной залы, оглашая спящую Казань возгласами: «А л л а!»...»

По словам знаменитого Филиппа Вигеля, этот Есипов был «ушиблен» Мельпоменой и своим же театром, Мельпомене услужая, он от «ушибов» лечился. Вигель самолично бывал у него в Юматове — в самый разгар летнего сезона. «Хозяин встречал нас с музыкой и пением... это был добрый и пустой человек, рано состарившийся, который не умел ни в чем себе отказывать, а чувственным наслаждениям он не знал ни меры, ни границ,— вспоминал Вигель.— Через полчаса мы были уже за ужином...»

Тогда бытовал такой порядок: женщины садились по одну сторону стола, мужчины — по другую. Но каково же было удивление Вигеля, когда он оказался между двумя красавицами, а вся столовая наполнилась нарядными женщинами, которые вели себя чересчур свободно, призывно распевая перед гостями:

Обнимай, сосед, соседа,
Поцелуй, сосед, соседку...

Только теперь до Вигеля дошло, что это не окрестные барыни, а крепостные артистки Есипова; хозяйски руководя застольем, они то и дело подливали Вигелю в пенную чашу. «Не знаю,— писал он в мемуарах,— какое название можно было дать этим отравленным помоям. Это было какое-то дичайшее смешение водок, вин и домашних настоек с примесью, кажется, деревенского пива, и все это было подкрашено отвратительным сандалом...»

Мне все понятно: не хватало денег на освещение театра — не было их и для закупки хорошего вина, и Вигель тогда же отметил, что село Юматово, кажется, было уже последним имением Есипова — все остальные давно проданы или заложены. Но театр процветал! Ушибленный им, Есипов им же и лечился.

Писатель Аксаков, тоже знакомый с труппой Есипова, отличал в ней красавицу Феклушу Аникиеву, к ногам которой казанская публика не раз швыряла кошельки с золотом, а Филипп Вигель, думаю, не мог не заметить и Г р у н ю... тихую и красивую Груню Мешкову, которая за господским столом вела себя с почти царственным величием примадонны.

Из глубин века XVIII мы, читатель, уже вторглись в следующее столетие, и здесь, на переломе эпох, сразу же сообщаю, что театр

П. В. Есипова просуществовал до 1814 года, и виновато в этом не только оскудение его владельца — в этом повинно и нечто такое, о чем наши ученые еще не имеют определенного представления, не в силах объяснить таинственные явления. Те самые явления, которые наши легковерные пращуры извечно приписывали к серии чудес «загробного мира».

А в наше повествование уже вторгается смелая женщина.

Точнее — не только смелая, но отчаянно-храбрая.

О таких, как она, принято говорить — «сорви-голова»!

. . . .

С детства нам памятно хрестоматийное: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Да, в старое время, как и поныне, немало водилось женщин, которым лучше бы родиться мужчинами. Кажется, они и сами сознавали это, не расставаясь с пистолетами, многие носили мужской костюм (вспомним, наконец, императрицу Елизавету, которая не стыдилась танцевать в гусарских штанах с дамами и фрейлинами). «Девица-кавалерист» Надежда Дурова или же лихая партизанка Василиса Кожина вошли в отечественную историю, и даже в эскадре адмирала Рожественского, плывущей в пекло Цусимы, обнаружился матрос, при тщательной ревизии оказавшийся девицей. Ох, многое мы позабыли!

Конечно, Александра Федоровна Каховская, урожденная Желтухина, дворянка Казанской губернии, никак не годится для помещения ее имени в учебник истории. Однако, по свидетельству современника, «природа ошибкой создала Каховскую женщиной, наделив ее всеми качествами мужчины. Она была смела и отважна до безумия: для нее совсем не существовало чувство страха. Каховская просто не понимала — как можно чего-то бояться!»

Словно в насмешку судьба одарила ее таким мужем, жизнь с которым напоминала боевые испытания на воинском полигоне. Когда супруги открывали огонь из пистолетов, то все жители деревни спасались за околицей от шальных пуль, круживших над ними, словно шмели над медом. Кончилась эта семейная идиллия одним удачным броском кинжала, пронзившим ногу Каховской, после чего она всю жизнь не могла избавиться от хромоты. Подхватив грудного младенца, прижитого ею в краткие перерывы между баталиями, Александра Федоровна вскочила в седло и, выстрелив на прощание в своего драгоценного мужа, крикнула:

— Больше ты меня никогда не увидишь...

Александра Федоровна уже не пыталась найти утешение в браке, всю свою жизнь посвятив воспитанию сына. Как она воспитала его — этого я не знаю. Но мне известно, что юный Каховский, служивший потом в кирасирах Петербурга, редко промахивался на дуэлях, за что и был посажен в Петропавловскую крепость. Александре Федоровне было тогда под сорок лет. Прослышав о беде с сыном, она помчалась в столицу — верхом!

Семьсот пятьдесят верст от Казани при тогдашнем бездорожье да еще в осеннюю слякоть, без провожатых и слуг, Александра Федоровна проскакала одна, и Александр I выпустил ее сына из заточения, говоря приближенным:

— А разве можно отказать такой женщине?..

Николай Иванович Мамаев, казанский старожил, с детства знавший Каховскую, писал в мемуарах, что не только опасности искали Каховскую, но и сама Каховская как будто нарочно выискивала опасности. Лучшим развлечением для нее была перестрелка в ночном лесу с разбойниками, она отчаянно кидалась наперерез взбесившейся тройке лошадей, удерживая их на самом краю оврага. Но из любых приключений женщина выходила даже без единого синяка, очень довольная испытанным ею риском.

— Если жить, так лучше всего на полном скаку, чтобы ветер свистел в ушах,— говорила она.— Не танцевать же мне... Да и кому я нужна такая? До утра подержат, а утром выгонят!

Каховская была некрасива, волосы ее очень рано поседели, и, будто предвосхищая моду будущих нигилисток, она стригла их очень коротко; при этом была близорука и не расставалась с лорнетом, «рукоятью которому служило кольцо, которое она вздевала на свой указательный палец». Наконец, все в Казанской губернии знали Каховскую как человека удивительно доброй души, она никому и никогда зла не сделала, все ее любили и уважали...

Однажды летом, в изнуряющий зноем день, Александра Федоровна собралась навестить своего брата* в его именьице Базяково, что лежало в закамских лесах. Дорога предстояла дальняя. Шестерик лошадей, заранее откормленных овсом, был впряжен в старинную развалюху-карету со слюдяными окошками. Песчаная дорога и несносная жарища очень скоро истомили лошадей, а за лесом уже начиналась гроза, все разом потемнело, зигзагами вспыхивали в отдалении молнии, ветер раскачивал и валил наземь гигантские сосны, пошел дождь, а ямщик забеспокоился.

— Барыня,— сказал он Каховской,— как хошь, гляди сама, экие деревья поперек дороги падают, да и лошадушки из сил выбились. Уж ты будь добра — повели назад поворачивать.

Распахнув дверцу кареты, Каховская огляделась:

— Заворачивай направо в проселок, отселе, кажись, версты три, не более, до есиповского Юматова, а я чаю, что Петр Василич Есипов будет рад меня видеть...

Лошадей завернули («вместе с тем, гром и молния, как бы довольные тем, что принудили ее переменить свой путь, начали удаляться»), и вскоре за лесом забрезжили теплые лучинные огни в окошках деревни. Юматовский староста, хорошо знавший Каховскую, встретил ее с поклоном на пороге своей избы, сообщив, что Есипов давно не живет в деревне, а дом господский пустует:

— Все беды начались с того, как сбежала Груня Мешкова, которую барин почитал главным украшением своего театра, после чего Петр Василич и сам отъехал в Казань на житие. Не знаю, правда ли, но люди пришлые сказывали, что болеть стал почасту...

Каховская сказала, что ей надобно переночевать:

— Гроза-то прошла, но, может, другая к ночи собирается.

— Милости просим, — радушно отвечал староста. — Но боюсь, что несвычно вам будет в избе нашей. Но моя семья на полатях потеснится, а вашу милость на лавке укладем...

Александра Федоровна удивилась:

— Будто ты, Антипыч, впервой меня видишь! Да я сколько раз у барина твоего гостила — так вели отворить дом господский, не обворую же я его хоромы. Опять же и неловко мне, ежели стану детишек твоих в избе беспокоить.

— Не смею, сударыня,— вдруг отвечал ей староста.

Тут Каховская даже обозлилась на него:

— Так тебе же и попадет от барина, ежели Петр Василич проведает, что ты меня в его же дом ночевать не пустил.

— Эх, барыня, не стращай ты меня гневом господским! — отвечал Антипыч.— И совсем не того я боюсь — иного.

— Так чего ж ты боишься?

Антипыч пугливо огляделся по сторонам, сказал:

— С той поры, как барин отъехал, нечисто там стало.

---

* Это мог быть один из братьев А. Ф. Каховской — Петр или Сергей Желтухин, портреты которых помещены в Военной галерее Эрмитажа — как прославленных героев войны 1812 года. Братья Желтухины, под стать своей сестре, тоже славились отвагой.

— Эка беда! — отмахнулась Каховская, глянув на прояснившее небо.— Ежели и неприбрано, так мне все равно.

— Я о другом, сударыня,— тихо произнес староста.— В дому господском даже лакеи жить отказались, потому как уже не раз люди прислужные видали в дому привидение.

— Так на ловца и зверь бежит! — обрадовалась Каховская, даже подпрыгнув от радости, словно шаловливая девочка.— Уж сколько баек разных про нечистую силу слыхивала, а вот видеть еще не доводилось... Отворяй дом господский. Не лишай меня, Антипыч, такого великого удовольствия... веди!

— Воля ваша,— согласился староста; он зажег фонарь, взял ключи и сказал: — Ну, пойдемте... отворю вам. Только на меня потом не пеняйте, ежели што случится...

Дождь кончился. С листьев падали тяжелые капли.

В природе наступило успокоение.

. . . .

Двери в господскую домину с тяжким скрипом отворились.

Изнутри пахнуло нежилой сыростью и запустением.

— Прикажете сразу отвести в опочивальню? — спросил староста.

— Нет,— отвечала Каховская,— веди прямо туда, где являлось вам привидение. Страсть как желаю с ним познакомиться!

Юматовский староста, горничная и лакей Есипова, сопровождавшие Каховскую, явно тряслись от ужаса, и Александра Федоровна, заметив их страх, распорядилась:

— Неволить никого не стану. Принесите мне из кареты пистолет, французский роман, который не дочитала в дороге, две подушки, распалите свечу и... можете уходить.

Оставшись одна-одинешенька в пустом, гулком и скрипучем доме, женщина предварительно осмотрелась. Это была ломберная комната, из которой застекленная веранда выводила в старинный сад, таинственно почерневший к ночи. Каховская с пистолетом в руке обошла и соседние комнаты, ничего подозрительного в них не обнаружив. Затем придвинула ломберный столик к дивану, положила возле свечи пистолет и легла, чтобы наслаждаться любовной интригой французского романа.

— Какой ужас! — однажды воскликнула она, дочитав до того места, где герой романа объявил героине, что страсть его иссякла, он полюбил другую...

Конечно, нервы у Каховской немного пошаливали, и на каждый шорох она быстро реагировала взведением курка пистолета.

Но пока все было спокойно, уже начал одолевать сон, время близилось к полуночи, взошла луна... Зевнув, Каховская отложила роман и решила уснуть, но случайный взгляд, брошенный на окна веранды, заставил ее невольно ужаснуться.

— Кто ты? — шепотом спросила она.

При этом вскинула руку, поднося лорнет к глазам.

Сомнений не было — нет, староста ее не обманывал.

В дверном проеме веранды стояла женская фигура, вся в белом, при ярком лунном свете она излучала какое-то небесное сияние. Но тут Каховская заметила, что призрак женщины слабым движением головы как бы призывает ее следовать за собой.

— Хорошо... я иду,— согласилась Каховская.

Она поднялась с дивана, левой рукой взяла шандал со свечой — в правой держала пистолет — и тронулась следом за призраком, невольно покоряясь явственному призыву. В саду ветер сразу задул свечу. Было жутковато во мраке ночного сада, но Каховская шла следом за белой фигурой женщины, которая время от времени мановением руки увлекала ее за собой в глубину садовой аллеи.

Наконец привидение остановилось, словно указывая цель пути, и...

тут же исчезло. Александра Федоровна оставила на этом месте шандал с погасшей свечой, вернулась в есиповский дом, легла и сразу очень крепко уснула.

Конечно, юматовские крестьяне уже известились, что отчаянная барыня ночевала в доме Есипова, и, когда Каховская воспрянула ото сна, возле крыльца ее уже поджидал староста.

— Антипыч,— повелела ему Каховская,— скликай всех юматовских мужиков и баб даже с детишками, пусть и священник с причтом своим ко мне явится немедленно.

— А что случилось-то, хосподи?

— Сама не знаю. Но распорядись взять лопаты...

Большая толпа крестьян сопровождала ее вдоль того же пути, который она проделала ночью — следом за привидением. Детвора даже радовалась, мужики поглядывали с опаской, бабы чего-то пригорюнились, а старый попик часто восклицал:

— Молитесь, православные! С нами сила небесная...

Вот и этот шандал, оставленный ночью на земле.

— Копайте здесь,— указала Каховская.

Глубоко копать не пришлось. Людским взорам открылся полуистлевший скелет, козловые башмаки с бронзовыми застежками, нитка бус, обвивавшая ребра, уцелела нетленная русая коса.

— Груня! — раздался вопль из толпы.

Это узнала свою дочь старуха Мешкова — узнала по косе и по бусам, и тут все разом заговорили, что Груня-то Мешкова не бежала от актерской неволи, как не раз утверждал их барин, горюя, а вот же она... «вот, вот, перед нами!»

Каховская не выдержала — разрыдалась.

— Отец,— сказала она священнику,— вели собрать эти кости да погреби их по христианскому обряду, чтобы Груня более не блуждала по ночам, людей пугая, а я... я более не могу!

Отдохнувшие за ночь лошади уже были впряжены в карету, кучер еще раз подтянул упряжь, расправил в руках вожжи.

— Ну, барыня, так в Базяково едем? — спросил он.

— Нет,— отвечала Каховская, кладя слева от себя французский роман, а справа — заряженный пистолет.— Мой братец обождет. Разворачивай лошадей обратно... мы едем в Казань!

Казанский дом П. В. Есипова располагался на углу Покровской улицы и Театральной площади (не знаю, как они сейчас называются). Лошади громко всхрапнули у подъезда, но никто из дома не выбежал, встречая, никто даже из окон не выглянул. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находились покои Есипова, Каховская — лицом к лицу — столкнулась со священником, который спускался вниз, неся «святые дары».

— Вы к нему? — многозначительно вопросил он женщину.— Так поспешите. Уже кончается.

— Как? — обомлела Каховская.

— А так... на все воля господня.

Александра Федоровна одним махом миновала последние ступени и, отодвинув врача, который не пускал ее далее, заявила:

— Не мешайте мне. Он еще не все сказал.

— Все сказал, все! — разом загалдели домашние лакеи.— Исповедь-то была, все сказал и уже отходит.

— Прочь от дверей... я сама его исповедую!

И, войдя, она двери за собой плотно затворила. Есипов лежал на смертном одре, но, кажется, нисколько не удивился появлению Каховской, вопрос его прозвучал вполне разумно и внятно:

— Чем обязан вашему визиту, сударыня?

Каховская решила не щадить умирающего.

— Петр Василич,— сказала она,— ты сейчас предстанешь перед судией вышним, а потому говори правду... едино лишь правду желаю

от тебя слышать. Скажи: ЗАЧЕМ ТЫ УБИЛ ГРУНЮ МЕШКОВУ?

Глаза Есипова, уже померкшие, глядевшие чуть ли не с того света, вдруг яростно блеснули и, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

— Кто, кто, кто сказал? Откуда сие стало известно? — захрипел он, силясь подняться с подушек на локтях.

— Мне об этом сказала... она.

— Кто?

— Сама Груня...

Старый театрал рухнул на подушки и, казалось, что умер.

Но затем все тело Есипова содрогнулось в рыданиях.

— Я думал унести свой грех в могилу, но ты... вы и Груня... Ладно! Пусть так. Скажу все... мне уже ничего не страшно!

Есипов вдруг горячо заговорил о своей мучительной страсти к театру, разорившему его, он сознался, что Груня Мешкова, самая талантливая актриса на свете, была его последней усладой, он даже помышлял на старости лет жениться на ней.

— Это был драгоценный перл моей сцены и адамант души моей. Ничего не жалел для нее! — выхрипывал из себя умирающий.— Я сапожки ей добрые справил, я бусами ее одарил, а она...

Навзрыд плачущий, Есипов вдруг стал метаться, речь делалась бессвязной, но Каховская все же понимала его. Оказывается, кто-то из лакеев наушничал барину, что Груня неверна ему, собираясь бежать в Москву с одним из крепостных же актеров. В один из вечеров Есипову нашептали, что убедиться в измене он сам может — ночью у нее свидание с любовником в самом конце липовой аллеи. Есипов не стерпел, что крепостная актриса предпочла ему, дворянину, крепостного же актера. И действительно, он в самом конце аллеи застал Груню Мешкову.

— Я так любил ее, я так не хотел этого...

— Разве она была не одна? — спросила Каховская.

— Одна,— сознался Есипов.

— Так что же?

— Но я уже не мог слышать никаких ее оправданий. А потом...

Умирающий замолк с открытыми глазами. Каховская напомнила:

— Так что же потом?

— Потом я своими же руками и закопал ее под клумбой в конце той же аллеи. Вот теперь знайте всё. Прощайте...

«Затем с ним началась предсмертная агония. Каховская вскричала людей, и Есипов на ее же руках и скончался...»

А далее что-то непонятное случилось с самой Александрой Федоровной. Всегда энергичная и бодрая женщина, экспансивная в разговорах и поступках, она разом поникла, быстро состарилась, неожиданно ее разбил паралич. Глаза, прежде столь ясные и выразительные, потускнели... Именно такой застал ее Н. И. Мамаев, навещавший Каховскую с матушкой, и рассказ о встрече Каховской с ночным привидением он слышал из ее же уст.

— Как все странно! — не переставала удивляться Александра Федоровна.— Ехала я к братцу, ни о чем ином не думая, но гроза вынудила меня изменить путь. Порою кажется, само Провидение заставило меня ночевать в пустом доме, всеми заброшенном и проклятом, а тень Груни Мешковой выбрала не кого-нибудь, а именно меня, женщину с мужским характером, которая не побоялась следовать в сад за этой же тенью. Наконец что-то, для меня так и необъяснимое, увлекло меня прямо к Есипову, которого смерть на миг отпустила из своих объятий, дабы я услышала его откровенную исповедь... Все это вряд ли случайно,— заключила Каховская.— Во всем, что со мною случилось, я вижу какое-то преднамеренное сцепление странных и загадочных обстоятельств...

Прощаясь с Мамаевым, она тихо заплакала:

— Что ж, отныне очередь за мной. Увижу ль я вас? Одного никак не пойму — чем я провинилась в этой жизни?..

Александра Федоровна долго еще страдала, прикованная к постели, и скончалась только в 1829 году.

. . . .

На старости лет, пребывая в почетной, но бедной отставке, Николай Иванович Мамаев писал свои мемуары, временами ликуя иль плача от нахлынувших воспоминаний. Касаясь судьбы театрала Есипова и Каховской с тенью крепостной актрисы Груни Мешковой, мемуарист пришел к очень разумному выводу:

«Явление это, по своему свойству выдающееся из ряда обыкновенных и, по-видимому, находящееся в явном противоречии с общеизвестными законами природы, заслуживает самого серьезного изучения и, вероятно, при дальнейшем старательном анализе подобных фактов и рядом опытов будет объяснено следующими за нами поколениями, и тогда из области сверхъестественного и чудесного перейдет в сферу научных исследований. В НАСТОЯЩЕЕ ЖЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ ОСТАЮТСЯ ДЛЯ НАС ПОКА ЧТО ЗАГАДКОЙ...»

Мне думается, что это мнение образованного человека прошлого столетия никак не расходится с авторитетным мнением ученых и философов нашего неспокойного и даже сумбурного времени.

Возле нас — необъяснимое, пугающее, волнующее...

Публикация А. ПИКУЛЬ.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Не стало Валентина Саввича Пикуля, замечательного русского писателя, фронтовика, лауреата Государственной премии России, истинного патриота Отечества, одного из любимейших авторов нашего журнала.

Валентин Саввич однажды сказал: «Чтобы осуществить все задуманное, мне нужно прожить двести лет». И словно предчувствуя, что судьба не расщедрится на земную жизнь, работал каторжно, по 10—15 часов в сутки, без выходных и отпусков. И потому, наверное, перемежал объемные романы короткими миниатюрами. «Бывает, что о каком-то герое посмотришь литературу, объема которой хватает для написания романа. Но писать роман некогда. И тогда я весь добытый мною материал сжимаю до нескольких страниц».

Миниатюры, опубликованные выше, автор передал нам три месяца назад, и они сразу же были запланированы в сентябрьский номер — именно такой срок необходим для полного производственного цикла: от засыла в типографию оригинала до выхода в свет тиража.

Валентин Саввич всегда работал над рукописью тщательно, скрупулезно: сам перепечатывал набело, вычитывал, правил, делал на полях пометки: «курсив!», «абзац!», «Обязательное требование автора к корректорам: никакие пробелы в тексте недопустимы! Вместо пробелов я использую отточие во всю строку».

Если у редактора, ведущего рукопись, возникали какие-либо вопросы, Валентин Саввич охотно встречался с ним в своем рабочем кабинете на тихой рижской улице Весетас: удобно усаживал за стол, доставал с полки уникальной своей библиотеки ту или иную редчайшую книгу, безошибочно открывал на нужной странице, сверял даты, фамилии, события, давал пояснения. Иной раз его монолог-экспромт далеко выходил за рамки затронутого вопроса и выливался едва ли не в самостоятельную новеллу.

Чрезвычайно ценя каждый час, каждую минуту, Валентин Саввич в то же время отличался истинно русским гостеприимством, хлебосольством, удивительной добросердечностью.

13 июля он отметил свой день рождения, ему исполнилось 62 года. Отметил, как всегда, «согбенною позою за рабочим столом», спешил закончить один из главных своих романов — роман о Сталинграде, давно обещанный читателям. Мы позвонили в тот день в Ригу, поздравили Валентина Саввича и условились, что встретимся через неделю-другую, когда он поставит последнюю точку на последней странице романа, после чего и посмотрит гранки миниатюр.

И еще одна встреча ожидалась в Риге: писателя в середине августа хотел навестить барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн, единственный живущий в Лихтенштейне русский — герой миниатюры Пикуля «В Ногайских степях» («Товарищ барон»), повествующей о создателях знаменитого заповедника Аскания-Нова.

Валентин Саввич дал честное, правдивое освещение событий и тем самым

способствовал «реабилитации» барона в глазах «непросвещенной части человечества». «Не пора ли помянуть добрым словом создателей уникального заповедника и рассказать об этой семье то, что мы знаем?»

Вышвырнутый из родного Отечества кровавым вихрем октябрьского переворота, живя долгие годы на чужбине, Эдуард Александрович бережно сохранил в душе сыновнюю любовь к покинутой родине и не мыслил своего существования без благих дел на пользу России. «Это лично ему мы обязаны, что на родину вернулись многие произведения искусства, похищенные фашистами, это он хлопотал, чтобы перенесли на родину прах Федора Ивановича Шаляпина, это он пытался уговорить Сержа Лифаря передать в СССР пушкинскую коллекцию, это ему, человеку старого воспитания, приученному всегда оставаться вежливым, пришлось душевно скорбеть, что родина — в ответ на его старания — не выражала даже примитивной благодарности, а высокостоящие чиновники даже не удостаивали его ответом. Увы, но так было...» В самом деле, апологеты «развитого социализма», командно-административной системы, видя в бароне лишь «отщепенца», «эксплуататора», «классового врага», постоянно чинили ему всяческие препоны, когда он приезжал в СССР, чтобы поклониться могилам предков или посетить заповедник Аскания-Нова, где он родился.

В конце мая этого года Эдуард Александрович вновь приехал в Москву. В Центральном Доме литераторов состоялась его встреча с патриотами-единомышленниками России и русского зарубежья. Присутствовали Сергей Михайлович Толстой (внук Льва Николаевича) с супругой, живущие во Франции, писатель Олег Волков, гостья из Австралии, журналист Александр Бондаренко, подвижники, возрождающие народные промыслы, актеры, представители журналов — в том числе и «Нашего современника». Много теплых слов было сказано в адрес Фальц-Фейна. Была зачитана и телеграмма из Риги:

«Дорогой Эдуард Александрович. Извещен, что в мае Вы будете в Москве. Хотелось бы Вас видеть и поговорить, но по состоянию здоровья выехать не могу. Я знаком с историей Аскания-Нова и вкладом Ваших предков и Вас лично в дело возвышения России. Высоко оценивая Ваш гражданский и человеческий подвиг во имя Отечества, буду рад видеть Вас в Риге. Да хранит Вас Господь.

С почтением Валентин Пикуль».

Растроганный барон Фальц-Фейн, к сожалению, не смог тогда принять приглашение, но твердо решил, что в следующий свой приезд в нашу страну, который был запланирован на середину августа, непременно сделает остановку на рижской улице Весетас.

...Осиротел без хозяина кабинет. На столе исписанная наполовину страница, простая ученическая ручка, чернильница. На полу возле стола высокая гора писчей бумаги, приготовленной для машинки. Всюду видны листочки с пометками, сделанными рукой Валентина Саввича: скорректировать план такой-то главы, перенести абзац на такую-то страницу, переписать, уточнить, проверить то-то, заменить это...

20 июля, после отпевания покойного в церкви святого Александра Невского и гражданской панихиды в окружном Доме офицеров, состоялись похороны на Лесном кладбище Риги. Десятки венков; необозримое море живых цветов; скорбно-торжественные звуки оркестра; прощальный салют; чеканный шаг почетного караула...

...Идут письма в редакцию.

«Сердечно скорблю об ушедшем от нас очень рано Валентине Саввиче. Надеюсь, что у вас вскоре появится статья о последних годах его жизни, о судьбе романа «Сталинград», его творческих планах и наших невосполнимых в обозримом будущем потерях в связи с кончиной великого, любимого русского писателя-труженика».

Это написала нам ленинградка Н. Ф. Савельева. Подобных писем множество: из Москвы и Уфы, из Твери и Смоленска, с Кавказа и Сахалина...

Идет время. Минул сороковой день.

Осенью прошлого года в одном из интервью, отвечая на вопрос корреспондента, когда же будет закончен роман о Сталинграде, Валентин Саввич сказал: «Вся задержка сейчас за мемуарами фон Герлица, которые медленно переводит мой верный друг, надежный помощник и жена Тося».

Теперь у Антонины Ильиничны задача несоизмеримо труднее: она готовит к публикации последний роман-завещание Валентина Саввича Пикуля «Барбаросса» (рабочее название — «Сталинград»), который мы начинаем печатать со 2-го номера будущего года.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990 И В 1991 ГОДУ ВЫ ПРОЧТЕТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

РОМАНЫ

Юрий БОНДАРЕВ. "ИСКУШЕНИЕ";

Валентин ПИКУЛЬ. "БАРБАРОССА". Роман о Сталинграде.

Дмитрий ЖУКОВ. "СНЫ" (исторический документальный роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур (персонажей романа), о его размышлениях, пророчествах, деяниях, испытаниях и загадочных встречах).

ПРОЗУ МОЛОДЫХ

Петр ПАЛАМАРЧУК. Сатирическое повествование – "ОТ ПРЕДДВЕРИЯ КОММУНИЗМА ДО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ (1979–1988)".

Александр СЕГЕНЬ. "ЗАБЛУДИВШИЙСЯ БТР" (повесть). Афганистан: на войне как на войне.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виктора АСТАФЬЕВА, Василия БЕЛОВА, Николая БЛОХИНА, Бориса ЕКИМОВА, Владимира КРУПИНА, Юрия ЛОЩИЦА, Валентина РАСПУТИНА, Вадима САФОНОВА, Владимира СОЛОУХИНА, Николая СТАРШИНОВА, Анатолия ТКАЧЕНКО, Бориса ШИШАЕВА, Бориса УКАЧИНА, Николая ШИПИЛОВА и других.

ТРАГЕДИЯ РОССИИ И ГИБЕЛЬ ПОЭТА –
к 95-летию со дня рождения С. ЕСЕНИНА: **А. Ремизов –** "Слово о погибели Русской земли", воспоминания о Есенине **А. Ахматовой**, новые материалы о жизни и смерти Сергея Есенина из советских архивов и библиотеки Конгресса США.

"РУСОФОБИЯ": ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ – новая статья **Игоря Шафаревича.**

ТРЕТИЙ ПУТЬ – исследование о религиозно-этических корнях русской экономики **Юрия Бородая**.

МАФИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ? – статья **Анатолия Салуцкого** о современной политической ситуации.

ОТ ПУШКИНА К БУЛГАКОВУ – ТЕМА БЕСОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – новое исследование **Петра Палиевского.**

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К НИГИЛИЗМУ – критические заметки **Вадима Кожинова** о литературе "третьей волны" эмиграции.

А. СОЛЖЕНИЦЫН – ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ – новая статья **Владимира Бондаренко.**

Под рубрикой ***"Не хлебом единым"*** *–*
о. Лев Лебедев – о высокой и трагической судьбе русской Церкви;
"БУДУЩЕЕ РОССИИ И КОНЕЦ МИРА", "ПРАВОСЛАВИЕ И " РЕЛИГИИ БУДУЩЕГО" – религиозная публицистика американского иеромонаха **о. Серафима (Роуза);**
"РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ ПОД УГРОЗОЙ..." – статья **Игоря Бончковского-Скарбека;**
работы Оптинских старцев.

80 коп.

157 – 21

ИНДЕКС 73274

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ П. А. СТОЛЫПИНА – исследование **В. Жедилягина**;
Русская печать 1911 года о подробностях убийства П. А. Столыпина и личности убийцы.

"Летопись России: история в лицах" –
новая рубрика "Нашего современника", в которой читателю предоставляется возможность ознакомиться с портретами выдающихся людей России с древнейших времен до наших дней, написанными лучшими современными литераторами, историками, критиками, а также авторитетными православными священниками. Для участия в этой рубрике приглашены **Л. Гумилев, о. Дмитрий Дудко, Д. Балашов, Р. Скрынников, о. Лев Лебедев, П. Паламарчук, В. Распутин, А. Панченко, В. Кожинов, игумен Андроник Трубачев, Ф. Нестеров, Ю. Лощиц** и многие другие.

Под рубрикой ***"Отечественная мысль"*** –
политические статьи **В. Розанова** из неопубликованной при жизни автора книги "Черный огонь"; "КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП" – малоизвестная статья **о. Сергия Булгакова**; "О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ", "ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ", "ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ" (с предисловием **В. Белова**) – труды выдающегося русского мыслителя **И. Ильина**; "НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ" – лучшая работа **Николая Бердяева.**

Под рубрикой ***"История Отечества: документы и судьбы"*** –
не известные советскому читателю страницы биографии В. И. Ленина – главы из книги Н. Валентинова (Вольского); "КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ" – книга историка С. Мельгунова – самое яркое свидетельство злодеяний "профессиональных революционеров" в первые годы Советской власти; ПИСЬМА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ; "ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В СВЕТЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (1918–1978)" – работа зарубежного исследователя профессора **П. Пагануцци**, основанная на позднейших материалах и документах, приоткрывающая малоизвестные страницы екатеринбургской трагедии.

Под рубрикой ***"Зарубежная мысль"*** –
"ТАЙНА БАШНИ СО ЗВОНОМ", "ПРОСЕЛОК", "О ПОНИМАНИИ" – впервые в России публикуются философские эссе одного из крупнейших зарубежных мыслителей XX века **Мартина Хайдеггера**; "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" – новый перевод глав о судьбах России знаменитой работы **Освальда Шпенглера**; "СПОР О СИОНЕ. 2500 ЛЕТ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" – одна из наиболее острых и дискуссионных книг по национальной проблематике, принадлежащая перу известного английского журналиста и исследователя **Дугласа Рида.**

Круг чтения –
Д. Барышников. "ЖЕНЩИНА И ЛОЖЬ" (о книге Н. Берберовой "Люди и ложи. Русские масоны XX столетия");
в этой же рубрике мы обозреваем "Московский литератор", "Московский строитель", "Вече" (Новгород), "Эхо" (Вологда);
а также израильский журнал "Алеф", "Вестник еврейской советской культуры", "Московские новости" и другую советскую периодику.

Наш современник, 1990, № 9, 1–192.